

Жан Лоррен



АСТАРТА



**Salamandra P.V.V.**

**ЖАН  
ЛОРРЕН**

# **АСТАРТА**

**(Господин де Фокас)**

Роман

Собрание сочинений  
Том I

**Salamandra P.V.V.**

## **Лоррен Ж.**

Астарта (Господин де Фокас): Роман. Пер. с франц. А. Чеботаревской. Пер. стихов и предисл. Ф. Сологуба. – (Собрание сочинений, том I). – Б. м.: Salamandra P.V.V., 2017. – 230 с.

Перед читателем – первое переиздание одного из главных романов французского декаданса, «Астарты» (1901) Жана Лоррена. Это – фантастический роман о неврастенике-аристократе, очарованном драгоценными камнями и посвятившем свою жизнь поискам «голубого и зеленого» взгляда богини Астарты, роман-дневник, наполненный извращенной чувственностью, болезненными и наркотическими видениями.

Ж. Лоррен (1855-1906) – поэт, писатель, самозванный денди, развратник, скандалист, эфироман и летописец Парижа «прекрасной эпохи» – был едва ли не самым одиозным французским декадентом. По словам фантаста, переводчика и исследователя декаданса Б. Стэблфорда, «никто другой таким непосредственным и роковым образом не воплотил в себе всю абсурдность и помпезность, все парадоксы и извращения декадентского стиля и образа жизни». Произведения Лоррена долгие годы не издавались на русском языке, и настоящее собрание является первым значимым изданием с дореволюционных времен.



**АСТАРТА**

**(Господин де Фокас)**

Дорогой Поль Адан,

позвольте посвятить Вам, как автору *Силы и Мистерии глупцов* и в то же время верному другу и исключительному художнику, изображение этих горестей и печалей — в знак моего неизменного восхищения и большой симпатии к Вашей личности и писательской честности.

Жан Лоррен  
Канны, 1 мая 1901

[ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ]

Роман Жана Лоррена «Господин Фокас», такой, с внешней стороны, изысканный, яркий и экзотический роман представляет собою, на самом деле, правдивое изображение души слишком современной души, слишком отравленной сладостными и чересчур пряными ядами нашей городской цивилизации. Цивилизация городская, или даже, точнее сказать, парижская (как в древности могла быть цивилизация александрийская, или вавилонская, или, в веках незапамятных, цивилизация погибшей Атлантиды) только, по-видимому, облегчает жизнь, уменьшает опасности и страхи одинокого бытия среди равнодушной природы, и увеличивает способы наслаждения жизнью. Увы! все эти блага нашей цивилизации — только внешние, кажущиеся блага; шущман и констебль бессильны отличить робкое добро от прекрасного зла, апаши многочисленнее гуннов и ближе, — и самое-то страшное то, что душа наша подавлена «излишним многообразием утех», нервы наши слишком ослаблены веселыми бдениями, сладкими отравками и бешеной погоней за быстронесущейся колесницей жизни. Неисчислимые блага рассыпает она, щедрая подательница, на тех, кто, хрипя и задыхаясь, мчится вровень с ее сверкающим и гремящим бегом. мчится, толкая слабых и попирая падших. Но горе тому, кто отстал, кто устал, кто больше не может!

Слабая душа человека за последние полтора столетия замкнула слишком широкий круг открытий, изобретений, новых идей, старых возрождений, мелькающих мод, политических и социальных катастроф, творческих мечтаний и практических устроений, и устала, устала смертельно, и, тоскуя, томится. Она теряет свои богатые приобретения, суживает круг своих переживаний, и только к блестящим воплощениям мечты влечется. Скучающая толпа шумит и

притворно ликует в горящих сотнями огней кабачках, где перед нею в легкой, но утомительной смене проносятся коротенькие развлечения, развратные и сентиментальные. Толпе нужна эта помесь разврата и сентиментальности, потому что угнетенная городской цивилизацией душа не может быть добродетельной, и потому что никогда еще мир не был так влюблен в добродетель, как в наши дни.

Но не до конца падение наше. Еще есть в городской душе стремление к простому, ясному, первоначальному разнообразию радующейся о себе и творящей себя жизни. Много дающая, дающая в избытке, но все подводящая под один уровень, — противна становится эта жизнь города, где все носят однообразные маски, и хочет горожанин окунуться в простую жизнь, где каждый смеет быть сам собою и явить свое настоящее, — доброе ли, злое ли, — лицо. Возникает вновь жажда видеть новые земли и новые небеса, вверить свою жизнь волнам новых вод, окунуть свою душу в светлое разнообразие больших пространств и пестрых человеческих смешений. Уйти далеко, далеко от Москвы, от Парижа, от друзей и недругов, и даже, кто знает? может быть, от себя самого. Может быть, там, где-нибудь в золотом городе Бенаресе или на островах Таити, проснется в нашей душе новый человек, невинно и светло радующийся и жадный к жизни. Правдивое изображение этой жажды, томящей порою душу среднего, немудрого горожанина, верный рассказ об этом стремлении его в некий золотой град, — вот это и придает роману Жана Лоррена «необщее выражение».

## НАСЛЕДИЕ

ГОСПОДИН ДЕ ФОКАС. — Я вертел визитную карточку в руках; фамилия была мне совершенно неизвестна.

За отсутствием лакея, отбывавшего в Версале свои солдатские двадцать восемь дней, кухарка провела гостя в мой рабочий кабинет.

Ворча, покинул я кресло, где так сладко дремалось на полуденном солнышке и, решив как можно скорее спровести докучного гостя, вошел в кабинет.

Господин де Фокас! Отдернув тихонько портьеру, я остановился на пороге.

Передо мною стоял высокий, гибкий, молодой человек лет двадцати восьми, с бескровным, чрезвычайно старообразным лицом, короткими волнистыми темными волосами, затянутый в костюм оливкового сукна, с высоким галстуком из бледно-зеленого фуляра, словно осыпанного золотыми блестками.

Где-то я уже видел этот тонкий, резкий профиль, этот гибкий, хрупкий силуэт, эту изящную волнистость очертаний...

Впрочем, господин де Фокас, казалось, не удостоивал заметить моего появления? — Стоя у моего письменного стола, изогнувшись в грациозной позе, он своей тоненькой тросточкой с изумительным набалдашником зеленой слоновой кости перелистывал рукопись, лежащую среди книг и бумаг и небрежно, свысока, скользил по ней взглядом.

Все это имело наглый, претенциозный, почти невыносимый вид.

Эта рукопись, — страницы стихов или прозы, заметки и буквы, моя работа, мои труды, перелистываемые кончиком тросточки, в тиши моего кабинета, этим равнодушным и любопытствующим посетителем! Я был возмущен и вместе с тем восхищен — возмущен поступком, но поражен смелостью, потому что люблю и уважаю смелость во всех

ее проявлениях; но вдруг внимание мое было отвлечено зеленоватым фейерверком, которым внезапно загорелся в складках его галстука огромный изумруд, весьма странного вида, с изумительной тончайшей головкой, точно сделанной из бледного воска и похожей на те странные изображения, которые находятся в галерее Лувра, посвященной Валуа.

Господин де Фокас, казалось, даже не подозревал моего присутствия; надменный и стройный, продолжал он разгребать мои бумаги, причем рукав его визитки немного загнулся, и я увидел тонкий браслет — цепь бериллов и опалов, обхватывающую его правую руку.

Этот браслет! Теперь я вспомнил.

Я уже видел эту хрупкую, белую, породистую руку, этот тонкий обруч из металла и драгоценностей. Да, я их видел однажды среди драгоценностей изумительного ювелира и гравера Барукини, этого необычайного мастера, покорителя металлов, словно вышедшего из Флоренции, мастерская которого, известная только знатокам, скрывалась в глубине старинного любопытного двора улицы Висконти, пожалуй, самой узкой из всех улиц старого Парижа, — той самой улицы, где была типография Бальзака.

Эта восхитительно-бледная, почти прозрачная рука, — рука принцессы или куртизанки, освобожденная от перчатки, — рука герцога де Френеза (таким я вспомнил его настоящее имя), рука герцога Френеза прикасалась с бесконечной негой к целой груде драгоценных камней, — ляпислазури, сардониксов, ониксов и сердоликов, усеянных топазами, аметистами и желто-красными рубинами; и по временам эта рука, похожая на восковую птичку, отмечала одним движением пальца избранную драгоценность... Избранную драгоценность, и в моих воспоминаниях возникал звук голоса, — тон, которым герцог, прощаясь с Барукини, сказал ему коротко: «Эта вещь мне нужна через десять дней. Вам нужно сделать на ней только инкрустации. Я рассчитываю на вас, Барукини, как и вы можете рассчитывать на меня».

Речь шла о павлине из эмалированного металла, который он заказал мастеру и для распущенного хвоста которого выбрал целую массу камней; еще одна оригинальность, прибавленная к списку всех его прочих, ибо фантазиям герцога де Френеза уже перестали вести счет, — о них ходили целые легенды...

Да и сам герой этих сказаний имел за собой легенду... Вначале он создавал ее бессознательно, а затем сам любил ее и стал поддерживать... Каких нелепостей не рассказывали шепотом об этом юноше-архимиллионере, знатного происхождения, со знатной родней, не посещавшем света, жившем без друзей, не афишировавшем любовниц и покидавшем ежегодно Париж в конце ноября для своих путешествий на Восток.

Глубокая тайна, словно произвольно стуженная, окутывала его жизнь и, за исключением двух-трех премьер, будоражащих Париж каждую весну, нигде не встречали этого бледного, стройного молодого человека с таким гибким станом и таким утомленным лицом. Когда-то у него была страсть к лошадям; но вдруг он перестал посещать скачки, продал своих лошадей и, оставив сначала будуары кокоток, изменил затем и салонам предместий, и это был уже сигнал к разрыву со всеми, к полному исчезновению.

Теперь Френез постоянно путешествовал по чужим краям. Впрочем, весной при появлении какого-нибудь сенсационного акробата — мужчины или женщины — в одном из цирков или шантанов, случалось встречать там Френеза подряд несколько вечеров, и это странное постоянство давало повод к новым сплетням, целому источнику предположений, — какого рода! — легко угадать. Потом вдруг Френез погружался в уединение — уезжал в Лондон или Смирну, Неаполь или на Острова, — в Палермо или Корфу, куда точно, не знали до того дня, пока кто-нибудь из клубменов не возвещал его появления, встретив его на набережной у антиквара или торговца драгоценностями, или нумизмата на улице Бонапарт, где он, с лупой в руке, странно сосредоточенный, рассматривал какую-нибудь резьбу на камне двенадцатого века или старинную камею.

В своем отеле, на улице Варенн, Френез владел целым тайным музеем драгоценных камней, прославленных знаменитыми и торговцами. Рассказывали также, что из своих путешествий по Востоку, со смирнских и тунисских базаров, понавозил он целые сокровища старинных бриллиантов, драгоценных ковров, редкого оружия и сильнейших ядов; но так как у Френеза не было друзей, никто не посещал его родового дома.

Единственно, с кем он поддерживал отношения, были торговцы и коллекционеры, подобные ему, и среди них Барукини, искусный гравёр, быть может, являлся единственным, когда-либо переступившим порог его дома. Все светские знакомые получали самый суровый отказ и в отместку говорили — ему помешали бы опьяняться опиумом — и эта сплетня, быть может, самая нелепая из всех, пущенных насчет де Френеза, знаменовала собой злостную досаду праздной толпы.

Этот человек привез с собой все пороки Востока.

И вот герцог де Френез стоял теперь передо мной, небрежно перебирая мою рукопись кончиком своей тросточки, Френез со своими легендами, своим загадочным прошлым, своим двусмысленным настоящим и еще более темным будущим, — Френез, проникший ко мне под чужим именем.

Он поднял глаза и, наконец, заметил меня. Быстро поклонился, сделал движение, как бы собирая листки, разбросанные на моем столе, и, точно отвечая на мою мысль, сказал: «Прежде всего, извините меня, сударь, за то, что я назвался вам не своим именем; но это имя отныне будет моим. Герцог де Френез умер, существует теперь лишь господин де Фокас. К тому же, я накануне долгого отъезда, быть может, навсегда из Франции; сегодняшний день последний, который я здесь провожу. Я только что принял серьезное решение, но все это вас мало касается, хотя я пришел к вам именно ради этого».

И, прося жестом разрешения продолжать, отказавшись движением руки от кресла, которое я ему предложил: «Вы знаете Барукини, вы даже посвятили ему и его искусству

незабываемые страницы — по крайней мере, для меня, ибо к их автору относится мое сегодняшнее посещение. — Это было в “Обозрении Лютеции”. Вы поняли и воспели на языке поэзии призматическое искусство волнующих и многогранных огней этого чародея. О! потаенное и изменчивое пламя, дремлющее в его бриллиантах, эти искорки природы, — зверьки и цветки, в которые он замыкает росинки драгоценностей. Достаточно ли воспели вы эту ювелирную флору, — одновременно византийскую, египетскую и эпохи Возрождения! Уловили ли вы ее сходство с кораллами и подводными алмазами, — да, подводными, ибо расцветенные бериллами, опалами и бледными сапфирами цвета водорослей и волн, почти синеватой эмали, они имеют вид драгоценностей, долго хранившихся на дне моря. Подобно кольцам Соломона или чашам фульского короля, они представляют собой как бы драгоценности затонувших городов и, конечно, дочь короля Исы была украшена ими, когда передавала ключи врат Демону... О! ожерелья Барукини, эти потоки голубоватых и зеленоватых камней, эти запястья, отягощенные инкрустациями опалов, те самые, которыми Гюстав Моро расцветчивал наготу своих заклятых принцесс. Бриллианты Клеопатры и Саломеи; бриллианты преданий, бриллианты лунного света и бриллианты сумерек.

“И все это было в давно минувших веках...”

Вот слова (вы их написали), которые просятся на уста при виде этих цветов и плодов из камней, оправленных в золото. Драгоценности Мемфиса или Византии, они вызывают мечты об Египте и Восточной империи, но еще более о городе короля Исы и его затонувших колоколах.

Вы видите, что я познал моих владык. И потому никто более меня не страдал от губительных чар этих камней; и, смертельно больной (ибо я умираю от их скрытого, зеленовато-синеватого яда), я решил довериться вам, сударь, — вам, постигшему их смертельное, роскошное очарование и сумевшему передать другим все их трепетное беспокойство.

Вы один способны меня понять, вы можете снисходительно отнестись к тому, что притягивает меня к вам. Герцог де Френез был чудачком, сударь; для всякого другого, кроме вас, господин де Фокас явился бы сумасшедшим. Я только что произнес имя города Исы и Демона, поглотившего город, Демона сладострастия, соблазнившего дочь короля. Если бы волшебство могло длиться веками, я бы сказал, что этот Демон сидит во мне. Да, меня преследует и терзает Демон с ранней юности. Кто знает? Быть может, он вселился в меня, еще когда я был ребенком, ибо — считайте меня, сударь, подверженным галлюцинациям, но вот уже годы, как меня терзает что-то голубое и зеленое...

Блеснет ли камень, или взгляну на него, — и я влюблен, хуже, — зачарован, преследуем его зеленовато-синеватой прозрачностью; мною овладевает чувство, похожее на голод. Напрасно ищу я отблеска этого света в зрачках и камнях — взгляду человека он не свойственен. Случается найти его в пустой орбите глаза статуи или под ресницами какого-либо портрета, но это только обман, искра, едва мелькнувшая и уже исчезнувшая, — и я являюсь лишь любовником прошедшего... Сказать ли вам, в какой мере сокровища Баруки усилили мою болезнь? Я увидел в этих бриллиантах — истоки, родники тех взглядов, что я искал, взгляда Дагугты, дочери короля Исы, взгляда Саломеи, но в особенности зеленоватый и ясный блеск взгляда Астарты, этого Демона Сладострастия и Демона Моря...

И, предупрежденный выражением испуга на моем лице:

— Да, разумеется, я одержим видениями, и какими? — Да минуют вас эти муки, ибо я страдаю от них смертельно. Да — из-за этих видений и из-за их ужасных советов, нашептанных в ужасе ночей, — из-за них я покидаю Париж, Францию и Старую Европу...

Освобожусь ли я от этого наваждения в Азии?... Итак, еще одну ночь... Но я злоупотребляю. Вот что я хочу у вас просить, сударь. Я уезжаю, быть, может, вы никогда не увидите меня больше! Я занес на эти листки первые ощущения моей болезни, бессознательные искушения существа,

ныне поглощенного безднами оккультизма и невроза. Позвольте мне доверить вам эти страницы и надеяться на ваше обещание их прочесть? Из Азии, куда я отплываю и где я обоснуюсь в надежде найти там исцеление от моих галлюцинаций, я пришлю вам продолжение этой первой исповеди, ибо я чувствую потребность крикнуть кому-нибудь о смертельных моих муках, потребность знать, что здесь, в Европе, кто-то жалеет меня и обрадуется моему исцелению, если когда-либо Небо ниспошлет его мне. Хотите быть этим человеком?

Я протянул руку господину де Фокасу.

## РУКОПИСЬ

— Его руки, мягкая влажность его всегда окоченелых рук. Их скользкое прикосновение, подобное бегству ужа!! Вы не обратили внимания на его руки! На меня же всегда производило странное впечатление пожатие его руки, если можно назвать пожатием еле ощутимое прикосновение вялых и холодных пальцев.

— Меня больше всего волновали его глаза, эти бледно-голубые глаза, в своей неподвижности подобные драгоценным камням. Их холодный блеск походил на блеск стали или лазури... А пристальность его взгляда! Я бывал совершенно расстроен каждый раз, когда говорил с ним в клубе.

— Да, этот человек во всех отношениях странный, так же, как и его возраст! — Знаете ли, что ему по меньшей мере сорок лет... — А на вид двадцать восемь. — Слушайте, да вы, должно быть, никогда в него не всматривались? Лицо его ужасно старо, а тело вполне сохранилось. Это правда; стан сохранил всю свою гибкость, но лицо потаскано, цвет его землистый, страшно утомленный, а рот! Эта искривленная улыбка! Кажется, что судорога его губ имеет за собой опыт целого века. — Опиум страшно изнашивает — ничто не губит так европейца, как Восток. — Ах, значит, он курильщик опиума? — Без сомнения. Как объясните вы иначе его странное изнеможение, невероятный упадок сил, которые он начал ощущать внезапно пять лет тому назад, когда при выходе из клуба он упал и должен был лежать целыми часами... — Часами? — Да, целые часы без движения, с совершенно разбитыми членами, в прострации... Слушайте, де Мазель, ведь вы его знаете, помните, как он однажды проспал сорок часов в течение двух суток? — Сорок часов! Да, он только просыпался, чтобы принять пищу, и затем снова погружался в оцепенение. Френез даже сам питал какой-то страх к этому сну, он чувствовал в этом какую-то аномальность — повреждение мозга или нервное расстройство. — Злосчастная анемия мозга — удел всех прожи-

гателей жизни. — Еще легенда! Я никогда не верил в распутство этого несчастного герцога. Такое хрупкое существо, такого слабого сложения; сказать по правде, где уж ему было распутничать. — Ну, а Лорензаччо?! — А, вы вспомнили Медичи! — Лорензаччо! — Флорентинец, пышущий злобой, человек энергии и мстительности, взлелеянной им с такой же медлительной осторожностью, с какой сжимают рукоятку кинжала. Если вы сравните с этим сердцем, горящим ненавистью, Френеза... праздного фантазера, живущего без всякой цели и назначения! По-моему, он предавался курению опиума на Востоке; оттуда его сонливость, его болезненные летаргии: опасные последствия дурных привычек! В конце концов, он здорово разрушил себя, а тяжелое действие опиийного яда его гнетет постоянно. А его голубовато-стальные глаза, разве это — не глаза курильщика опиума? Разве его вены не отягощены еще тяжкими парами конопли? Опиум, как и сифил... (и де Мазель проглотил конец слова), годами остается в крови; в конце концов их можно изгнать, но для этого надо поглотить дьявольские дозы йода!

На это Шамерой:

— Да, ваш опиум, он-таки за себя постоит.

На мой взгляд, положение Френеза осложняется совсем другим. Он не больной — просто персонаж из сказок Гофмана! Вы когда-нибудь давали себе труд его рассмотреть? Эта бледность тупа, эти судорожно сжатые руки, более тонкие и сухощавые, чем руки японцев, этот резкий профиль и эта худоба вампира, разве все это не наводило вас на размышления? Ведь Френезу — пять тысяч лет, несмотря на его хилое тело и безбородое лицо. Этот человек уже жил в древние времена, при Гелиогабале и при Александре IV и при последних Валуа... Да что я говорю? Это сам Генрих III. В моей библиотеке есть томик Ронсара, очень редкое издание, в переплете свиной кожи, с металлическими украшениями того времени; там находится портрет короля на пергаменте. Когда-нибудь я вам принесу этот томик, вы сами увидите. Если отнять родимое пятно, колет и серьги в ушах, вы побьетесь об заклад, что это — портрет

герцога де Френеза. Мне лично его присутствие всегда тягостно и, пока он здесь, я чувствую всегда какое-то стеснение, какой-то гнет...

Таковы были образчики разговоров, разгоревшихся по поводу отъезда де Френеза и назначения в продажу его дома и обстановки на улице Варенн, возвещенные за день объявлениями в «Фигаро» и «Temps». Рассказы, легенды, догадки — достаточно было произнести имя Френеза, чтобы, как на дрожжах, поднималась вся пошлость сплетен и предположений. И однако, все эти элегантные и пустоголовые клубмены не могли мне ничего сообщить.

Весь этот глухой шепот недоброжелательства и заинтересованного общественного мнения вокруг имени теперешнего господина де Фокаса я уже слышал десяток лет; и теперь этот человек избрал меня своим доверенным, — мне выпали на долю честь или стыд снять покров с его жизни и узнать, наконец, тайну, заключенную в страницах этой рукописи.

Все они были написаны его рукой, хотя разными почерками (ибо почерк человека меняется вместе с его душевным состоянием и графолог узнает по одному взмаху пера превращение честного человека в мошенника), и я решил в один прекрасный вечер прочесть эти вверенные мне страницы; те самые, которые господин де Фокас так надменно просматривал, разбросанные на моем столе, едва взглядывая на них краем глаз из-под подкрашенных бровей.

Я переписал их, как они были, в беспорядочной последовательности дат, впрочем, выкинув некоторые, написанные слишком смело для того, чтобы появиться в печати...

На первом же листке стояла цитата из Суинберна:

«В жилах моих я ощущаю сжигающий меня пыл.

— Грех, разве это грех, когда души человеческие бросаются в пропасть? Однако, я долго верил, что могу спасти свою душу, прежде чем поверг ее в пламя Сладострастия. О! мрачный ад, где умирают все нежные чувства — все, за исключением страдания, которое вечно!»

И затем четверостишие из пьесы Мюссе «О чем грезят молодые девушки»:

О, как несчастен тот, кому рука Порока  
Железный коготь свой вонзает в грудь жестоко!  
Невинная душа — нетронутый сосуд;  
Но волны всех морей пятна в ней не сотрут.

Личные впечатления начинались:

*8 апреля 1892 г.* — Непристойное выражение губ и ноздрей, бесстыдно-алчные улыбки женщин, встреченных на улице, скрытая низость и вся эта животность диких зверей, готовых броситься и кусать друг друга; торговцы в своих лавочках и гуляки на тротуарах, — как давно терзает меня все это! Еще ребенком, я уже страдал от всего этого, когда, случайно сойдя в людскую, я схватывал, не понимая, пересуды прислуг, перемивавших косточки моих близких.

Эта враждебность всех ко всем, эта глухая ненависть всего хищного человечества, — я встретил ее позднее в училище, и сам я, питающий отвращение ко всем низменным инстинктам, не стал ли я бессознательно развратником и насильником, убийцей и пакостником, подобно всей этой похотливой и кровожадной толпе, толпе бунтовщиков, которая сто лет тому назад кричала, швыряя полицейских в Сену: «Вздернуть аристократов!» так же, как теперь она рычит: «Долой армию!» или: «Смерть жидам!»

*30 октября 1891 г.* — Прекрасными можно назвать только лица статуй. В их неподвижности есть своеобразная жизненность, отличающаяся от гримас наших физиономий. Их оживляет словно божественное дуновение, и какая глубина взгляда в их пустых глазах!

Я провел целый день в Лувре, и теперь меня преследует взгляд мраморного Антиноя. С какой негой, с какой страстью, глубокой и умудренной, смотрели на меня его продолговатые мертвые глаза! Был момент, когда мне почуди-

лись в них зеленые огоньки. Если бы этот бюст принадлежал мне, я бы велел вставить изумруды в его глаза.

*23 февраля 1893 г.* — Сегодня я сделал гнусную попытку — склонить одного журналиста, которого я едва знаю, додать мне пропуск для присутствия на казни; я даже пригласил его обедать, хотя человек этот мне скучен, а к крови я чувствую такое отвращение, что у дантиста, слыша крик в соседней комнате, я почти падаю в обморок.

Мне обещан билет для присутствия... Пойду ли я на эту казнь?

*12 мая 1893 г.* — Неаполь. — Я только что видел великолепную коллекцию драгоценных камней. О! что за музей! Какая чистота линий в каждой камее. У греков — больше грации, какой-то блаженной ясности — быть может, характерной для божества; но в римских камнях поражает какая-то необычайная страстность. На одном из колец я нашел резную голову, увенчанную лаврами, какого-нибудь молодого цезаря или императрицы, — Калигулы, Оттона, Мессалины или Поппеи, с выражением такого восторга и вместе с тем такого изнеможения, что я буду о нем грезить в течение многих ночей... Грезить! Разумеется лучше было бы жить, а я только и делаю, что грежу.

*13 июля 1894 г.* — В праздничные вечера иногда очень поздно встречаются на улицах странные женщины и еще более странные мужчины. Быть может, в эти ночи народного ликования где-то внутри людей пробуждаются древние, затаившиеся души? Сегодня вечером мне положительно попадались, в водовороте возбужденной, разгоряченной толпы, личины византийских вольноотпущенников и куртизанок эпохи Упадка.

Казалось в этот вечер, что над этой кишачей площадью Инвалидов, среди грохота хлопушек и стрельбы в цель, запаха жареного, икоты пьяных и всей этой кухонной атмосферы — носится кошмар Неронового празднества.

Это напоминало майский вечер в Неаполе на Basso-Porto — и в толпе блуждали лица, которые можно было принять за сицилийцев.

29 ноября того же года. — Мрачный, устремленный вдаль, взгляд Антиноя, и иступленный, жестокий, молящий взор римской камеи — я нашел на одной пастели неважной работы, подписанной незнакомым именем художницы, которой, однако, я охотно дал бы заказ, если бы был уверен, что она воспроизведет этот странный взгляд.

И, однако, как это просто сделано! Два-три штриха пастелью вокруг четырехугольного исхудалого лица с огромными челюстями, сладострастно раскрытыми губами и раздувающимися ноздрями, в венке из фиалок и с маком за ухом. Лицо скорее безобразно, мрачного трупного оттенка, но под опущенными ресницами сверкает, притаившись, зеленый кристалл, — мрачный источник ненасытимой души, страждущий изумруд ужасающего сладострастия!

Я отдал бы все, чтобы найти этот взгляд.

18 декабря того же года. — «Спит ли она или бодрствует? Ибо ее шея, носящая следы поцелуев, еще хранит пурпуровое пятно, где трепещет гаснущая кровь; легкий укус — слишком прекрасен для пятна». *Laus Veneris* (Суинберн). О! это багровое пятно на прекрасной шее заснувшей женщины и забытье, похожее на смерть, успокоение этого тела, обессиленного наслаждением! Как меня привлекало это пятно! Мне хотелось бы прильнуть к нему губами и медленно выпить всю душу этой женщины до последней капли крови; но меня раздражал ее правильный пульс; шелест ее дыхания, равномерно вздымающееся горло преследовали меня, словно тиканье кошмарных часов, и был момент, когда мои судорожно сжатые руки тянулись схватить спящую за горло и сжимать ее до тех пор, пока дыхание не прекратится. Мне хотелось ее задушить и укусить, в особенности заставить ее перестать дышать. Ах! это непрерывающееся дыхание!... Я поднялся с холодным потом на висках, потрясенный настроением убийцы, которым я уже

себя чувствовал в продолжение десяти секунд: я должен был стиснуть руки, чтобы помешать им схватиться за эту шею... Она спала и из губ ее струился легкий запах тления... Тот противный запах, который выдыхают все человеческие существа во сне.

О! фиваидские святые, которых искушало столько нагих грешниц в видениях пустыни! О! эти блуждающие силуэты сладострастия, легкие касания бедер которых оставляют за собой волны ароматов и ладана, и все это были лишь демоны!»

*3 января 1895 г.* — Я снова спал с этой женщиной и снова соблазнялся желанием убийства; что за позор!... Я вспоминаю, что ребенком любил мучить животных и вспоминаю историю двух голубков, которых мне дали однажды для забавы и которых я инстинктивно, бессознательно задушил, сжимая. Я не забыл этой ужасной истории, а мне еще не было тогда восьми лет.

Трепет жизни всегда внушал мне странную страсть к разрушению и вот уже два раза, как я ловлю себя на мысли об убийстве в любви.

Или во мне две души?

На этом обрывалась первая рукопись.

## УГНЕТЕНИЕ

*Без числа.* — Красота двадцатого века, очарование больницы, кладбища чахоточных и истощенных, — сказать, что все это я пережил! Хуже — я все это когда-то любил.

Чего только не было в моей жизни; я обладал кокетками оперы и шантанов, хрупкими монденками с беличьими мордочками, малолетними балеринами, захудалыми герцогинями — всегда утомленными и страждущими, морфинистками и меломанками, еврейками-банкиршами с ввалившимися глазами, маленькими певичками из шантанов, подбавлявшими за ужином креозот в шампанское; я даже не чуждался подозрительных субъектов с Монмартра, рекламировавших свой гермафродитизм. Считая себя снобом, я влюблялся в угловатых подростков — сухопарых, скелетообразных — я любил эту странную смесь фенола и пряностей, нарумяненной немощи и невероятной утонченности.

Словно дурак, я верил этим хищным и разлагающимся губам, и словно простак — сладострастно раскрытым глазам целой кучи существ, болезненных, алкоголичных, циничных, практичных и коварных. Глубокий взор, загадочность губ, посредством притираний, мыла и туалетных вод, сообщали одним из них сводни в бриллиантах, другим — маникюрши; и эфироманка Фанни, взбодренная по утрам искусной дозой возбуждающей колы и кокаина, употребляла эфир только для своих носовых платков...

И все одно надувательство и «фальсификация» — если говорить на их грязном жаргоне. Их фосфоресцирующая гниль, их поддельная страстность, их лесбиянские клейма... — пороки, афишированные для привлечения клиентов, испорченность для молодых и старых любителей развратных нравов! Все это пенилось и сверкало лишь в те часы, когда вспыхивает газ, в кулуарах шантанов и скотской обстановке баров; и как под английской жакеткой, так и в костюме велосипедистки, вся эта кричащая выставка исступленной бледности, изощренного порока и анемии

прожигателей, все очарование блеклых цветов, воспетых Бурже и Барресом, — все это было лишь заученной ролью, сто раз разыгранной, сто раз прочитанной главой из бульварного романа, обработанного ловкими своднями, уверенными в грязных вожделениях самцов и в своих способах воздействия на расслабленный организм покупателя.

Подумать, что и я любил также этих дрянных и нездоровых зверьков, этих поддельных Джоконд и Примавер, выброшенных на улицу мастерскими художников и кабаками эстетов.

И эти намозолившие глаз «травести» — мужские костюмы на тощих бедрах и на затянутых в корсет торсах, эти премированные уродины бульварных кабаков, — Нина Грандьер — с ее фальшивою кукольностью и эта Иветта Гильбер, похожая на привидение в своих длинных черных перчатках!..

Но теперь с меня довольно ужаса этого кошмара! Как мог выносить я его так долго!

Тогда я еще не подозревал о таящейся во мне болезни. Она таилась во мне, как пламя под пеплом. Я лелеял ее в себе... Может быть, с самого детства, ибо она всегда жила во мне... но я этого не знал!

О! это Голубое и Зеленое, явившееся мне в кристаллах некоторых камней и в еще более кристальных взорах некоторых портретов, — скорбный изумруд драгоценностей Барукини и тот же изумруд в нарисованных глазах, все еще для меня неясный! И если я столько страдал от моей неспособности любить женщин. это было потому, что ни одна из них не обладала этим взглядом.

*Пятница, 3 апреля 1895 г. — Злая молитва:*

Благословлю твои уста, их грешное томленье;  
В них запах алой розы свеж, и внятен запах тленья,  
Они впитали темный сок цветов и тростников,  
В их говоре звучит далекий ропот тростников,  
Порочный твой рубин, горят холодные уста,  
Как рана смертная распятого Христа.

Сегодня в Страстную пятницу желание пережить настроение детства или вспомнившаяся привычка повлекла меня к обедне в Нотр-Дам; мне захотелось освежить... (о, если бы я мог ее стереть) мою пылающую рану в прохладном сумраке церкви; и, слушая латинские тексты, скороговоркой читаемые священником, — сколько я ни старался следить за ними по молитвеннику, меня преследовали ужасные стихи Реми де Гурмона, которые мои губы нашептывали, как слова ласки или как слова проклятия.

Благословлю твои стопы, их путь всегда порочный,  
Их обувь легкую в притонах оргии полночной.  
Они взбираются тайком на плечи бедняков,  
И топчут самых чистых, самых кротких бедняков.  
В подвязке пряжка — аметист, и глубь его чиста,  
Как дрожь предсмертная распятого Христа.

И хотя погребальная служба оплакивала смерть Христа; но в рошущей тишине церкви, обращенной в Гробницу, мне слышались только злые антифоны поэта...

Благословлю твои глаза, и взгляд их ядовитый.  
В них призраки живут, и злость иронии сокрытой  
Там спит, как мертвая вода на дне пещеры спит, —  
Средь анемонов голубых там зверь жестокий спит.

И мне казалось, что меня касалось что-то голубовато-зеленое, словно изумруды в форме маслин, и по моим ладоням точно скользили чьи-то прохладные пальцы...

Я выронил молитвенник из рук и, прислонившись к моему стулу, облокотился одной рукой, уронив другую, неподвижно раскрыв ладонь... которая ловила, ощупывала что-то прохладное, круглое...

Это ощущение было столь неожиданно, так тонко и так нежно-чувствительно, что дрожь пробежала по всему моему телу... Дошел ли я в моей чрезмерной чувствительности до осязательного воплощения образов моего вожделения?.. С минуту я оставался в нерешительности... Чтобы задержать ощущение и лучше освоиться с ним, я закрыл глаза, но при-

косновение еще более чувствовалось. Уступая его настойчивости, я снова открыл глаза.

Дама в трауре, — молодая женщина, под вдовьим покрывалом, сидевшая рядом со мною, тихонько высвободила свои четки из моих пальцев.

При этом ресницы ее были скромно опущены; но легкая улыбка кривила тонкие губы. Ресницы ее, и розовые губы, прикрывали сверкающую белизну...

О скорбный твой сафир! в нем страх, в нем горечь разлита.  
Сафир, последний взгляд распятого Христа.

*Вторник, 16 июня 1895 г.* — Вчера вечером я был в «Олимпии». О, как уродлива эта зала, и вообще уродливы все публичные места, — и этот современный костюм, и уродство человеческого тела в этой одежде листового железа — эти точно печные трубы, прилаженные к ногам, рукам и корпусу клубмена, задыхающегося в ошейнике из белого фарфора, и печаль и серость всех этих лиц, загубленных дурной гигиеной городов и злоупотреблением алкоголя... следы бессонных ночей и повседневной борьбы, запечатленные в нервных подергиваниях всех этих рыхлых отяжелевших лиц... Их нездоровая бледность и экстравагантность и тщеславие их самок, красующихся в ложах и в партере рядом с пошлыми самцами.

Целые сооружения из перьев, газа и цветного шелка, придавливающие тонкие шеи и плоские груди: узкие плечи, стиснутые огромными рукавами, разряженная модная хурда или, еще хуже, бронированная стеклярусом и облаками газа слонообразность толстух. И в то время, когда все эти фантоши\* улыбались, разглядывали друг друга в лорнетки, на сцене медленно и искусно разворачивалась игра мускулов изумительного человеческого тела. Акробат, облитый палевым шелком трико, сверкая в лучах электричества лоснящейся наготой, запрокидывался, изгибаясь всем своим телом; потом вдруг выпрямлялся движением

---

\* От фр. *fantoché*, марионетка (Прим. ред.).

бедер и рук, устремленных к потолку, являя собой поражающее зрелище человека, превращающегося в ритм, трепетной гибкостью веерообразного движения.

Я сидел в барьерной ложе. Во Франции разрешается любоваться только статуями. Страны солнца не знают этих предрассудков, и я, привыкший к обычаям Востока, стал восхищаться изумительными пропорциями и гармонией движений акробата; что дало повод маркизу де В... (я всегда ненавидел его голос фальцетом и его маленькие светленькие глазки) сказать мне с гадкой улыбкой: «Этот гимнаст может себе каждую секунду сломать шею; то, что он делает, мой милый, очень опасно и вам нравится в нем та легкая дрожь, которую он вам сообщает... Как будут все волноваться, если его потные руки соскользнут с барьера? По инерции его быстрого вращения он неминуемо переломает позвоночник, и кто знает, быть может, брызги мозга долетят и до нас! Это было бы очень захватывающее зрелище и вы могли бы прибавить редкое ощущение к обширной коллекции ваших ощущений. Как остро волнует нас этот человек в трико!

Сознайтесь, что вы почти желаете, чтобы он упал. И я, да и, впрочем, множество людей в этой зале, находимся в том же состоянии ожидания и предчувствия. Это гнусный инстинкт толпы пред зрелищем, возбуждающим в ней представления сладострастия и смерти. Эти два милых друга всегда приходят вместе и, поверьте, что в этот момент... (видите, акробат держится за шест только кончиком большого пальца), что в этот самый момент большинство женщин в этих ложах страстно желают этого человека, не столько ради его красоты, сколько ради риска, которому он подвергается». И прибавил тоном, в котором внезапно зазвучало любопытство: «У вас глаза странно побледнели, мой милый Френез — вам нужно бросить бром и перейти к вальерианке. Душа ваша изящна и любопытна, но нужно уметь управлять собою. Сейчас вы слишком страстно, слишком явно желаете — если не смерти, то по крайней мере падения этого человека».

Я не отвечал, — маркиз де В... был прав. Я был во власти безумия убийства, — зрелище приковывало меня; и, замерев в каком-то томительном и упоительном предчувствии, я желал, я ожидал падения этого человека. Я чувствую в себе какую-то жестокость, которая меня ужасает.

## ГЛАЗА

*Число не обозначено.* — «Глаза!.. Они разоблачают перед нами все тайны любви, ибо любовь ни в теле, ни в душе, — она в глазах, которые ласкают, отражают все оттенки чувств и восторгов, — в глазах, где обнаруживаются и преображаются желания. О! жить жизнью глаз, где все земные отражения стираются и пропадают; смеяться, петь, плакать вместе с глазами, смотреться в глаза, утонуть в них подобно Нарциссу в источнике.

Шарль Веллей».

Да, потонуть в глазах, подобно Нарциссу в источнике — вот была бы радость. Безумие глаз то же, что притягательная сила бездны... В глубине зрачков такие же сирены, как на дне моря. В этом я уверен, но вот... я их никогда не встречал и я все еще ищу глаза с глубоким и трогательным взглядом, где я мог бы, подобно освобожденному Гамлету, утопить Офелию моего желания.

Мир кажется мне океаном песка.

О! эти волны горячего и затверделого пепла, где ничто не может утолить мою жажду влажных и зеленоватых глаз. Поистине бывают дни, когда я слишком страдаю. Эта агония номада, заблудившегося в пустыне.

Мне не пришлось читать ничего более близкого к моему настроению и к моим страданиям, чем эти строки Шарля Веллея.

«Целые годы я провел, ища в глазах то, что другие не могут увидеть. Медленно, с мучительными усилиями я открыл в них длительный трепет, бесконечно продолжавшийся в зрачках. Я отдал всю душу на разоблачение этой тайны, и теперь уже мои глаза больше не принадлежат мне, они постепенно восприняли взгляды всех других глаз, — теперь они служат только отражением всех этих похищен-

ных взглядов; чужая жизнь, неведомые ощущения оживляют их, и в этом мое бессмертие — я не умру, мои глаза будут жить, потому что они уже не мои, они образовались из всех глаз со всеми их слезами и улыбками, и я переживу смерть моего тела, ибо все души в моих глазах».

Все души в его глазах... Да, ведь этот человек — поэт, он творит то, что видит, и он видел души, какая насмешка! Там, где отражаются только инстинкты, нервные подергивания и трепет ресниц, он увидал мечты, сожаления и желание. Глаза — пусты, и в этом их ужасная и мучительная загадка, их обаятельная и ненавистная прелесть.

В глазах есть только то, что мы сами в них вкладываем, и потому подлинное выражение глаз может быть только на портретах.

Поблекшие и утомленные глаза мучеников, восторженные глаза ведомых на казнь, глаза, полные мук, — одни покорные, другие исступленные, глаза святых, нищих, изгнанных принцесс, глаза Бога-Человека, увенчанные терновником, с улыбкой всепрощения, глаза одержимых, избранников и истеричных, глаза девушек, Офелии и Каниди, глаза девственниц и колдуний, — как значительна и многострадальна ваша жизнь в музеях, где вы сверкаете, подобно драгоценным камням, вставленным в картоны шедевров, как вы волнуете нас вне времени и пространства, — хранители создавшей вас мечты.

У вас есть души — души создавших вас художников; а я предаюсь отчаянию и умираю, потому что отведал яда, затаенного в ваших зрачках.

Следовало бы выкалывать глаза портретам.

*Ноябрь 1896 г.* — Есть взгляд и в прозрачности камней, в особенности в старинных неотделанных камнях, которыми украшены некоторые дароносицы и раки святых мощей, находящиеся в сокровищницах соборов Сицилии и Германии.

А сокровищница собора Святого Марка в Венеции! Я помню там есть чаша Дожа, вся покрытая полупрозрачной эмалью, сквозь которую на вас смотрят века.

*13 ноября 1896 г.* — Глаза! какие они бывают прекрасные — голубые, как озера, зеленые — как волны, молочные, как абсент, серые, как агат и прозрачные, как вода. В Провансе я встречал глаза такие знойные и спокойные, что можно было их сравнить с августовской ночью над морем, но ни одни из этих глаз не имели взгляда.

Самые красивые глаза, которые я знал, принадлежали Вилли Стефенсон, артистке «Атенеума», играющей теперь в театре. Это были буквально глаза-цветы и так они были свежи и нежны, словно два василька, плавающих в воде. Это было странное и пленительное существо — по крайней мере, мне это так казалось — страшная мотовка. Обычно ее содержали сразу четверо или даже пятеро, а мне пришла фантазия иметь ее одному. Она была нежна, бела; у нее были словно точеные руки, плоские бедра и живот и маленькие, всегда волнующиеся груди; сложение подростка, с неожиданно прекрасным лицом, необыкновенно чистым овалом, овалом, в котором сказывалась порода, среди которого трепетали, как два ослепительных цветка, большие невинные глаза, глаза испуганной нимфы или умирающего оленя, глаза, полные испуга и целомудрия... и обворожительная синева вокруг этих глаз — пастелеподобная синева их шелковистых век, — как прекрасны были глаза этого хрупкого и всегда утомленного существа; поистине, это были единственные глаза, которые я любил. Они молили с таким испугом о пощаде в агонии судорог и восторгов алькова, а ее нежная тонкая шея, казалось, так и просилась под топор! Анна Болейн, должно быть, имела такой же нежный, атласистый затылок под золотистым облаком мелких локонов.

Это была какая-то красота осужденности. Сама хрупкость ее вызывала представление насилия — губительная красота, возбуждавшая во мне инстинкты убийцы. Сколько раз возле нее я мечтал о кротких бледных лицах — кротких и

вместе с тем дерзких, павших жертвами Революции, об этих красавицах-аристократках, которых Фукье-Тенвилли и Каррьеры посылали, еще трепещущих от страсти, под нож гильотины.

Эту хрупкую красоту конца восемнадцатого века Вилли подчеркивала искусством своих стильных костюмов и уборов; тончайшие газы и батисты, кисея и кружева, платьяца из полосатой тафты бледных шелковистых чайно-розовых оттенков еще утончали ее хрупкую красоту блондинки: «Английская школа или Трианон», как бы спрашивало ее личико, когда я входил к ней.

Притворяясь невинностью, играя в аристократизм, Вилли, по существу, была последней из проституток. Она напивалась, как стелька и, афишируя свое распутство, отправлялась к «своим» в кабачки Монмартра. Ее розовые губки извергали ругательства и проклятия не хуже любого извозчика. В один прекрасный день, когда она считала меня уехавшим в Лондон, а я бродил по окраинам города, охваченный приступом своей болезни, я застал ее в окраинной трущобе на вечеринке, в компании местной звезды-танцовщицы из Moulin-Rouge, угощающей пуншем целую банду сутенеров.

О! синие огоньки алкоголя, циничное затаенное пламя в глазах Вилли в этот день, — ее лицо, внезапно постаревшее на двадцать лет, циничная личина распутницы, выжившаяся в складках вокруг ее, вдруг ставшего порочным, рта и в выражении глаз попрошайки!

Вдруг вся ее душа отразилась на лице. Но так как неосторожное создание имело на шее жемчужное ожерелье — вывезенное из Берлина и Петербурга, стоимостью в две тысячи золотых — ее бранный доспех, и так как декабрьский день клонился к вечеру, а местность становилась пустынной, я сжалился над нею и, сознавая опасность, которой она подвергалась на этой вечеринке, подошел и увел ее под каким-то предлогом.

Кто знает, может, я предотвратил ее участь! Жемчужное ожерелье на ее шее куртизанки так и просилось под руку душителя... Но так как я давал Вилли пятьсот золотых

ежемесячно, то она при моем появлении тотчас приняла свой прежний невинный вид и вышла со мной, каюсь в своем любопытстве.

Но я уже увидел беса в ее глазах. Обаяние исчезло, я разгадал ее секрет. Испуг, который привлекал меня в ее взгляде, беспокойство, тоска — все это было лишь отблеском ее походов.

У воров и грабителей тоже часто бывает этот беспокойный взгляд.

*Неаполь, 3 марта 1897 г.* — Почему только у статуй я встречаю такие глаза, каких нет у людей?

Сегодня утром, в зале музея, отведенной под раскопки Геркуланума, мне ясно явилось Зеленое и Голубое, — преследующий меня скорбный, бледный изумруд в металлических глазах — в потемневших глазах бронзовых статуй, почерневших от лавы и сделавшихся похожими на адских богинь. Там находилась, между прочим, конная статуя Нерона, пустые глаза которого наводят ужас, но этот взор я нашел не в его очах. Там стояли у стен статуи Венер в пелумах, похожие на Муз, — но на каких-то зловещих Муз, статуи Венер, словно обожженные, с отлупившейся местами бронзой, глаза которых — величественно-пустые — сверкали среди их личин из черного металла.

В этом безумии неподвижных и пустых зрачков я увидел вдруг зажегшийся взор...

*30 апреля 1897 г.* — Глаза людей слушают; некоторые даже — говорят, все манят, выслеживают, подстерегают, но ни одни не глядят. *Современный человек больше не верит и вот почему у него нет больше взгляда.* В конце концов, я согласился с этим... Современные глаза? В них нет больше души; они уже не обращаются к небу. Даже самые чистые из них заняты дневным и земным: низкая алчность, будничные интересы, тщеславие, стяжательство, предрассудки, мелкие желанья, глухая зависть, вот отблески чего мы находим теперь в глазах; преобладают души дельцов и кухарок. Под нашими ресницами вспыхивают отбле-

ски медных грошей; даже не зажигается под ними желтое пламя взвешиваемого золота. Вот почему взоры музейных портретов так притягательны; в них отражаются мольбы и муки, сожаления и угрызения совести. Глаза — источник слез; коль скоро источник высыхает — глаза тускнеют. Вера лишь оживляет их, но нельзя вдохнуть жизнь в мертвецов. Мы идем, устремив взор себе под ноги, и наши взгляды отражают в себе грязь, и глаза кажутся нам прекрасными, лишь когда они сверкают ложью или оживлены воспоминанием о каком-нибудь портрете, о каком-нибудь взгляде давно прошедших времен, или сожалением о прошлом.

У Вилли были заученные взгляды — глаза женщин лгут всегда.

*Май 1897 г.* — Жак Трамзель вышел от меня. «Видали ли вы новую танцовщицу в Фоли-Бержер? спрашивал он меня. — Нет. — Ну, надо ее посмотреть. — Ну, что же это за женщина? — Гречанка. — Лесбиянка? — Нет. О! она не шутя говорит о своем знатном происхождении. Я считаю ее еврейкой с Востока, какой-нибудь левантийкой, но у нее изумительное тело, гибкость... Точно большой пляшущий цветок, — даже сложение ее какое-то причудливое — но это не может вам не понравиться, ибо, сказать правду — у этой женщины точно два тела — торс акробата — гибкий, мускулистый и худощавый, а бедра и круп совершенно необычайны. Это точно сама Венера Каллипига, или если вы предпочитаете — Венера Анадиомена. Октав Юзанн (ею уже занимается литература) даже придумал для нее новое название: Венера Алкивиада. В самом деле, она одновременно Афродита и Ганимед, Астарта и Вакх. — Астарта!... А какковы у нее глаза? — Глаза прекрасные — глаза, долго созерцавшие море».

Глаза, долго созерцавшие море!... О! светлые, устремленные в даль глаза моряков, глаза бретонцев, отражающие морскую воду, глаза матросов, отразившие воду озер, глаза кельтов, отразившие воду рудников, мечтательные, бесконечно-прозрачные глаза живущих у рек и у озер, глаза, встречающиеся иногда в горах — в Тироле и в Пире-

неях; глаза, в которых отразились небеса, большие пространства, заря и сумерки, долго созерцавшие над необъятностью вод, над скалами и над равнинами; глаза, в которых запечатлелось столько горизонтов! Как я не подумал раньше обо всех этих уже встречавшихся мне глазах?

Теперь я знаю, чем объяснить мои долгие прогулки поздним часом вдоль набережных и в гаванях.

Глаза, долго созерцавшие море!... Пойду посмотреть эту танцовщицу.

## ИЗЕ КРАНИЛЬ

*Июнь 1897 г.* — Большой пляшущий цветок... Трамзель был прав: эта девушка похожа на длинную чашечку цветка, странно колеблющуюся над круглыми, словно чаша, бедрами — я видел ее танцующей... (Изе Краниль — красивое имя, если только оно принадлежит ей. У этих созданий разве можно что знать наверное! ибо, несмотря на свой дивный торс и умопомрачительный выгиб поясницы, эта Изе самая глупая, самая нахальная и самая ненаходчивая из всех виденных мною танцовщиц.) Я сержусь на нее, ибо никто еще до сих пор не топтал так неуклюже цветников моей души, хотя у этой-то было все, чтобы мне понравиться!

Стройная, прямая, с бюстом, возвышавшимся над тяжелым и раздвоенным в виде прекрасного плода крупом, гибкими ногами, круглыми коленями, очаровательный силуэт с выпуклостью упругих грудей, словно выросших из бедер навстречу желанию, с выгибами бедер и внезапными запрокидываниями всего торса, напоминающими опускание цветка под дождем — она была прекрасна — эта Краниль, с острым овалом ее плоского лица, пламенными глазами и резкой улыбкой; погибельное создание, проклятое пророками, вечно нечистое животное, бессознательно развращенное и зловредное, пожирающее силы мужчин и приводящее в неистовство дряхлых королей похоти.

Саломея! Саломея! Саломея Гюстава Моро и Гюстава Флобера — вот незабвенный образ, который мне тотчас пришел на память, когда на сцене предо мною появилась Краниль, вылетевшая, как мяч, и, как мяч, подпрыгивавшая — оттеняя свою наготу вампира черным газовым покрывалом.

Среди пейзажа запустения, среди призрачных скал и мертвых гор, под тусклым освещением синеватой рампы она воплощала душу шабаша; сладострастная и призрачная, истомленная и полная неизъяснимой неги, она, каза-

лось, несла на себе тяжесть всей греховной красоты, красоты, отягощенной всеми грехами народов; и снова, и снова падала с мольбою на колени и влекла к себе более, чем хотела, символическими жестами своих прекрасных безжизненных рук. Потом, охваченная головокружительным стремлением, словно одержимая, она вскакивала, выпрямившись от кончика пальца до затылка, словно вихрь мрака и плоти. Ее руки, только что недвижные, угрожали и, дерзкая, демоническая, вся напряженная, она кружилась, как волчок, — вернее, как большая лилия, застигнутая грозой, — не то клоун, не то мертвец с полураскрытыми губами, сквозь которые сверкал перламутр. О! эта жестокая и сардоническая улыбка — и две бездны ее ужасных глаз.

Изе Краниль!... Лишь упал занавес, я был в ее уборной. Пьер Фори, художник-импрессионист, выставяющий каждый год портрет одной из этих созданий и почти явно занимающийся ремеслом сводника, представил меня.

С редким бесстыдством Изе принимала нас, еще вся разгоряченная от возбуждения, пота и грима.

Она снимала трико; черный шелковый чехол с тюлевыми и стеклярусными помочами, придававший ей пять минут тому назад вид цветка с темными лепестками, валялся теперь на стуле, словно тряпка; и, обнажив шею, разгоряченная, вспотевшая, Краниль сидела на стуле, протянув обе ноги служанке, которая, стоя перед нею на коленях, стаскивала с усилиями шелковые чулки, прилипшие к коже... Пока Фори называл мое имя, она успела накинуть на плечи газ, и, не вставая, повернув к нам влажное лицо, проговорила: «Я не даю вам руки, — я вся мокрая. Располагайтесь, господа, как умеете». И, с улыбкой обращаясь ко мне: «Я слыхала ваше имя, сударь, вы любитель камней, коллекционер редких драгоценностей. Мне давно хочется их видеть, — желание, упорно преследующее меня с тех пор, как я в Париже. Вы разрешите?» И она повернула ко мне свою голову порочного мальчишки, голову вампира, вдруг превратившегося в циничную левантинку, на лице которой сверкали под тяжелыми ресницами два зрачка серого агата, манящие и обещающие, глаза, которые, конечно, что

бы ни говорил Трамзель, никогда не созерцали моря, но глаза поразительные, которых я до сих пор нигде не встречал!..

О! этот одуряющий животный запах уборной, от которого у меня кружилась голова, — запах женщины, косметики и пота... В этот вечер Изе Краниль не была свободна... Она отклонила мое приглашение ужинать и ласково, с многообещающими взглядами и улыбками, проводила нас до порога своей уборной, вытирая груди полотенцем...

Ее глаза! Мне только и говорили об ее глазах. Ради ее глаз я пошел к ней и всю ночь меня преследовал острый запах туалетной воды и влажной кожи, и рыжие пятна у нее под мышками, эти волосы, такие же тускло-рыжие и жесткие, как у нее на голове.

Изе Краниль! Кто знает, быть может, она исцелила бы меня, если бы захотела. В течение целого дня, да что я говорю! в течение двух суток ожидания вечера, назначенного для обеда с нею, я отдыхал от видений, терзавших меня годами... Эти двое суток я жил исключительно желанием увидеть розу уст Изе, — нежный цветок, нескромно разверстый над маленькими зубками, очаровательный изгиб губ, открывающих сверкание эмали... услышать запах, этот одуряющий, смешанный запах, исходящий от нее, от которого я почти упал в обморок, но которым я бредил потом целых два дня, два счастливых дня, наслаждаясь своим освобождением от терзавших меня взглядов, наконец, освобождаясь на два дня от гнета призраков, властным обаянием запаха...

Но она не захотела; с первого же вечера она показала себя такой неуклюжей, такой ненаходчивой... Бедняжка!

С тех пор мне часто бывало жаль ее, когда я вспоминал бесполезность ее уловок и усилия, которые она употребляла, чтобы разыграть комедию этого злосчастливого вечера. Сколько комбинаций и хитростей, Боже мой! и все, чтобы достигнуть этого результата; я досадовал на нее целый месяц. Она скотским образом задавила желание в самом его зародыше! Да и сети ее были сплетены уже слишком грубо. Это непосредственное обращение к ревности мужчины,

которого она считала влюбленным в себя, этот банальный способ действий маленькой певички, а Изе танцевала в театрах Милана и Вены... Что за жалкие любовники, должно быть, были у нее там?

О! убогая авантюра этого обеда, — я не могу воздержаться от улыбки, вспоминая его теперь! И забавная физиономия Фори, — его испуганное лицо и несчастные глаза при неожиданных приступах нежности танцовщицы; бедняга не придумала ничего иного, как прикинуться безумно влюбленной в Фори, чтобы раздражить важного господина, каким я был для нее, ибо обладал редкими драгоценностями и рентой, — этой злосчастной рентой, — состоянием, слишком известным и даже преувеличенным праздными языками; этим состоянием, которое точно ядро каторжника отравляет мне жизнь повсюду, где меня знают, состоянием, от которого я бегу или, вернее, бегу от басен о нем, путешествуя инкогнито за границей в течение месяцев и годов; а эта гречанка не нашла ничего лучшего, как бросаться на шею этого бедняги Фори, ласкать его, тереться об него, словно влюбленная кошка, осыпать его поцелуями и ласками на моих глазах, чтобы зажечь, довести до бешенства мое желание... Что за убожество! И как она меня плохо понимала.

Впрочем, может быть, ей сказали обо мне, что я садист, пресыщенный сложными и утонченными ощущениями, — то, что называется «утонченный» человек со странными вкусами... Я знаю, что имею за собою эту репутацию, поддерживаемую моими друзьями, рассказывающими в домах, где они обедают, обо мне гадости за десертом. Их за это приглашают, и журналисты домогаются чести быть мне представленными, осмотреть мои коллекции, описать мою обстановку, а Изе была, конечно, знакома с журналистами.

Ее, конечно, нашпиговали этими «сведениями» в каком-нибудь баре за абсентом или при выходе с премьеры...

Она играла свою роль серьезно: это было трогательно; но оба они были смешны, и Фори, который защищался, смущенный присутствием того, кто его пригласил, и эта

Изе, которая так старалась, выходя из себя...

Началось это пожатием рук и толчками коленок под столом, потом дело дошло до поцелуев; длительные поцелуи в шею, поцелуи в щеки и губы, — поцелуи во время еды; причем Фори давился, наливался кровью, — объятия этого ангела душили его! Фори к тому же апоплектик. И, очень взволнованная его сопротивлением, упорно следуя своей системе, она целовала его в губы, когда он ел филе по-португальски и лангуста: поцелуи вместе с раковым соусом и поцелуи с майонезом — это было довольно отвратительно и художник не знал, куда деваться!

За десертом она водворилась у него на коленях и начала нежно пихать ему в рот клубнику, даже заставила его выпить шампанского из ее бокала, помочив в нем сначала язык... Чтобы защитить свою крахмальную сорочку, Фори завесил ее салфеткой. Он закидывал голову, чтобы избежать этого потока ласк, и имел вид человека, скупающего у парикмахера.

Усевшись у него на коленях, в своем платье цвета чайной розы, Краниль была докучна, как нельзя больше: как она ему надоедала! но еще больше мне, ибо я заметил, что ее взгляд не покидает меня. Негодяйка наблюдала меня, бросая взгляды из-под полуопущенных век, следила за каждым движением моего лица, каждым сжатием моих пальцев.

— Если вы не хотите прекратить этого ради меня, постыдитесь хотя бы лакея, — сказал я, наконец. — Я имею вид наблюдателя. Для вас это оскорбительно.

— Я не знаю, что на нее нашло, — сказал мне Фори при выходе. — Это с ней впервые. Она не могла меня выносить, — она пьяна.

— Нет, она тварь, — ответил я ему на их гнусном наречии, — с нею не сварить пива...

На другой день я послал ей две розовых жемчужины и букет черных ирисов в знак прощанья. Больше я ее никогда не видал.

Изе Краниль рассказывала всем, что я оказался неспособным.

Если бы она знала! Если бы они знали! О! ночи в Неаполе и Амальфи, прогулки в лодке по Салернскому заливу, ненасытные поцелуи с двумя сестрами-венгерками в отеле Сорренто; вечера в гондоле на мертвой лагуне в Венеции; стоянки в пустынных каналах Джудеки и неожиданные встречи, любовные приключения в Флоренции, — встречи без завтрашнего дня, но длящиеся вечность, и изнурительные галлюцинации в Сиди-Окба и в Тимгаде, — поцелуи вампира среди миражей и соленых ветров пустыни!

Если бы она знала! Если бы они знали!

## НАВАЖДЕНИЕ

*Июль 1897 г.* — Наваждение взглядов снова вернулось...

Со времени этого дурацкого обеда у Пайяра с Краниль и Фори, зеленые молнии, блеснувшие мне однажды из-под гипсовых век Антиноя, скорбный изумруд, сверкающий в орбитах глаз статуй в Геркулануме, влекущие взгляды музейных портретов, презрение веков, присущее взглядам ликов некоторых инфант и куртизанок, вся эта ложь и эта тайна, вся эта феерия и эта легенда — преследуют меня, осаждают и гнетут, наполняя мою душу ненавистью, стыдом и бешенством. Другой человек поселился во мне... И какой человек! Какой ужасный атавизм, какое мрачное наследие пробудил в моем существе этот взгляд... и какие гнусности нашептывало мне мое желание в ужасном уединении моих ночей... Ужасном! ибо теперь они полны наваждений... О! безмятежные сны моего детства в старом провинциальном доме... О! мой навсегда потерянный сон!

*Тот же год, тот же месяц.* — Положительно, меня преследует демон... Теперь я в этом убежден: среди самой обыденной обстановки, не далее как вчера неожиданно сверкнувший взгляд, неожиданный блеск изумруда во время прогулки в лодке в этом уголке пригорода, и близком и далеком, взгляд Астарты, внезапно зажегшийся в глазах этого моряка, — во всем этом есть что-то сверхъестественное. В моей болезни уже не только одна фатальность, в ней есть еще какая-то вражья сила, какое-то оккультное влияние, колдовство, наваждение.

Лодка медленно плыла, прорезая воду, заросшую водорослями и хвощами; кое-где на поверхности дремали широкие листья водяных лилий. Это была, напоенная тенью и облитая светом, та самая водная дорога, которая ведет от Пуаси к Вилленну, а за тополями и ивами острова находилась военная стоянка, казарма; на горизонте виднелся виадук Отейля и башня Эйфеля. Тем не менее, после дневной

жары был восхитителен воздух среди колышущейся листвы и свежести трав под шелковым, нежно-розового оттенка, шатром этого пригородного неба, на котором лучи солнца смешивались с клубами дыма... Меня баюкал шорох весел, как вдруг нечаянно я посмотрел в лицо гребца, сидевшего против меня, и едва удержался от крика.

Среди разгоряченного, загорелого и запекшегося, как персик, лица, два больших глаза сверкали самой яркой синевой, — глаза, поражающие прозрачностью и глубиной взгляда!

Эти глаза напомнили мне порочные и невинные глаза Вилли и глаза Дины Сальгер в «Лорензаччо» и в «Клеопатре» — в особенности в «Клеопатре», когда из-за шафрана, которым артистка гримировала лицо, засиял ультрамарин ее глаз. Эти глаза лодочника походили также на детские глаза некоторых портретов Бастиана Лепаже, — глаза, которые я видел в Базеле на картинах Гольбейна и Альберта Дюрера; и, стараясь удержать руками мучительно колотившееся в груди сердце, я собирался спросить имя у этого человека, когда вдруг сапфиры его глаз побледнели, позеленели. Они превратились в такие прозрачные изумруды, что предо мною словно разверзлась бездна и я встал посреди лодки, стараясь побороть охватившее меня головокружение.

— Господину дурно? — спросил меня гребец. — Господин хочет, чтобы я его высадил?

Глаза человека снова сделались голубыми — яркой и свежей голубизны глаз Вилли и Дины; лодка пересекала полосу тени, и это зелень прибрежных ив зажгла его взгляд отражением листвы...

Это объяснение я дал себе впоследствии, но оно не удовлетворило меня. Уже не в первый раз катаюсь я по Сене, но никогда до сих пор не встречал скорбного изумруда, дремлющего в глазах статуй Помпеи и в прозрачных глазах Антиноя.

Астарта вернулась еще более могущественная, чем прежде. Она владеет мною, стережет меня.

*Декабрь 1897 г.* — Вернулась также моя жестокость — ужасающая меня жестокость. Годами, месяцами она спит во мне и вдруг пробуждается, вспыхивает, а когда припадок проходит, оставляет меня в ужасе от самого себя. Гуляя по Булонскому лесу, недавно я до крови исхлестал собаку ни за что — за то, что она не явилась тотчас же на мой зов. Бедное животное стояло предо мною взъерошенное, скребло землю, уставив на меня глаза с почти человеческим взглядом и выло так жалобно!!! Эти вопли могли разжалобить палача! Но я был охвачен каким-то бешенством и чем больше я ее хлестал, тем больше хотелось мне ее еще хлестать: трепет этого содрогающегося тела сообщал мне непонятную мне ярость. Вокруг меня собралась публика, и я остановился только из чувства приличия.

После мне стало стыдно. Мне теперь всегда стыдно.

Трепет жизни всегда вызывает во мне странную жажду разрушения. По какому-то странному закону противодействия я чувствую борьбу смерти с жизнью; меня что-то давит и душит и я почти лишаюсь чувств от тоски, когда думаю о двух существах, предающихся любви...

Сколько раз среди ночи я просыпался, изнемогая от криков и стонов, вдруг ощутимых среди тишины заснувшего города — этих стонов сладострастия, которыми словно дышит ночь Города! Они становятся явственнее, надвигаются на меня, затопляют меня целым потоком объятий, и, весь разбитый, в смертельном поту, я должен был вскакивать и бежать босой к окну, чтобы, раскрыв его настежь, дать вздохнуть сердцу, замершему от ужаса. Что за мучительное ощущение! Точно железные объятия стискивали мне грудь и чувство, похожее на голод, раздирало мне внутренности и терзало все мое существо! Смертельная жажда любви! О! Эти ночи! Сколько долгих часов провел я, склонившись к недвижным деревьям сквера или над мостовой пустынной улицы, подстерегая тишину города, вздрагивая при малейшем шорохе в мучительной тоске, — сколько ночей провел я, выжидая, пока мое волнение утихнет, а желание сложит крылья, эти тяжелые злые крылья,

колотящиеся во все стены моего существа, словно крылья большой птицы в судорогах!

О! Эти бесконечные, беспощадные ночи бессильного возмущения наслаждающимся Парижем — ночи, когда я хотел бы стиснуть все тела, поглотить все дыхания, выпиться во все губы, и мои пробуждения утром, в изнеможении, на ковре, который я еще царапаю своими бессильными руками, умеющими ловить только пустоту и в жажде убийства судорожно сжимающими ногти, спустя сутки после припадков — ногти, которые я когда-нибудь наконец вонжу в чей-нибудь атласистый затылок... Теперь вы видите, что я во власти демона, демона, которого врачи изгоняют посредством брома и валерианы, как будто лекарства могут справиться с подобной болезнью.

*Февраль 1898 г.* — Почему так настойчиво преследует меня эта глупая встреча? Она всколыхнула во мне что-то страшно нездоровое — не знаю что, чего я не подозревал в себе, а если подумать — чего проще, чем встреча с этими двумя масками?

Женщина, одетая гимназистом, с фуражкой на голове, затянутая в куртку с металлическими пуговицами, и с нею этот жалкий чудак в сутане, опошлившей звание священника, — наверное, какой-нибудь проходимец. Трудно было ошибиться на их счет в эту ночь карнавала; и разгильдяйство женщины, ее упругие бедра под сукном куртки, бесстыдно размалеванное лицо, лицо проститутки — все свидетельствовало о карнавальном разгуле, — все, вплоть до глупого вида и двусмысленной усмешки этого пройдохи в сутане и брыжах! Но в этой тускло освещенной улице рыночного квартала, у дверей меблированных комнат, силуэт этих двух маскированных вдруг показался мне беспокойным и страшным. И час был подозрительный — близилась полночь. Чем могли они заниматься в этом месте свиданий? И мысль, которую фатально внушали этот гимназист-андрогин и псевдо-священник, была отвратительна, гнусна и святотатственна.

Теперь я хожу по костюмированным балам — маски словно околдовали меня. Загадка лица, которого я не вижу, привлекает меня, словно головокружение на краю пропасти; и в суতোлке балов Оперы, и в кишаших променуарах шантанов, взгляд, светящийся в дырочке глаз или сквозь кружева капюшонов, заключает для меня какую-то прелесть, сладострастие тайны, которая возбуждает меня и опьяняет неведомым трепетом; здесь что-то напоминает риск игры и бешенство охоты; и мне всегда кажется, что под этими масками сверкают и глядят на меня зеленые зрачки пастели, которую я люблю — устремленный в даль взгляд Антиноя.

*Март 1897 г.* — Что за странный сон приснился мне сегодня ночью! Я блуждал по знойным улицам какой-то гавани, в окраинном квартале не то Барселоны, не то Марселя, улицах, благоухающих грудями гаванских отбросов, но прохладных под синим мраком их больших крыш. Эти улицы все спускались к морю, позлащенному солнечными лучами, с видневшимися на каждом повороте реями и рангоутами; над моей головой сияла безмятежная лазурь, и я шел через эти мрачные и прохладные переходы в тишине пустынного квартала словно вымершего города, вдруг покинутого чужестранцами и моряками, где я блуждал один под пронзительными взглядами проституток, сидящих у окон или стоящих на по рогах жилищ.

Но они не говорили со мной. Прислонившись к краям больших окон или замерев в дверных простенках, они молчали, оголив руки и груди, странно нарумяненные, с начерченными углем бровями под взбитыми локонами, утыканными бумажными цветами и жестяными птичками, и все походили друг на друга!

Можно было принять их за больших марионеток, за манекенов, забытых в панике, ибо я угадывал, что чума или какая другая ужасная эпидемия, занесенная кораблями с Востока, очистила этот город от жителей; я был один с этими призраками любви, позабытыми мужчинами, на порогах домов наслаждения — и вот в продолжение часов я

блуждаю, не находя выхода в этом мрачном квартале, преследуемый стеклянными и пристальными взглядами этих автоматов; внезапно мне пришла вдруг мысль, что все эти проститутки — мертвые, зачумленные или холерные, разлагающиеся здесь в запустении под масками гипса и картона, и внутри меня все похолодело от ужаса. И, несмотря на эту дрожь, я приблизился к одной неподвижной фигуре и увидал, что она была действительно в маске; другая проститутка, стоявшая у соседней двери, была также в маске, и все были ужасающим образом похожи друг на друга своей одинаково-грубой раскраской.

Я был один среди масок, хуже, чем масок, — среди маскированных трупов, когда вдруг я заметил, что из-под этих картонных и гипсовых личин смотрят живые глаза.

На меня смотрели стеклянные глаза.

Я проснулся с криком, ибо в один и тот же момент я узнал всех этих женщин. У всех них были глаза Краниль и Вилли, левый глаз — Краниль, правый — Вилли, так что все эти разноглазые покойницы показались мне кривыми.

Означает ли это, что теперь меня будут преследовать видения в масках?

## УЖАС ЛИЧИН

*Апрель 1898 г.* — Повсюду мне чудятся маски! Ужас той ночи, — опустелый город со своими замаскированными трупами на порогах дверей, кошмар эфироманов или морфинистов, воцарился во мне. Я вижу маски на улице, я вижу их в театре на сцене, в ложах, на галерке, в партере — повсюду вокруг меня маски. Уврезки\*, подающие мне пальто — также в масках; маски толпятся у выхода, в вестибюле, и извозчик, везущий меня домой, также носит на лице рожу из затверделого картона!

Поистине это ужасно — чувствовать себя во власти этих лживых и загадочных физиономий, — одиноким среди всех издевательств и угроз, навсегда запечатленных в этих масках. И как я себя ни уверяю, что грежу и что я во власти видений, все эти женские лица, нарумяненные и разрисованные, все эти крохотные рты и подведенные углем ресницы — все это создало вокруг меня атмосферу боязни и агонии... Грим! вот откуда пошла моя болезнь.

Теперь я радуюсь, если это оказываются только маски! Иногда я угадываю под ними труп и чаще это уже не маски — это уже призраки.

Как-то вечером я зашел в кафешантан на улице Фонтень с Трамзелем и де Жокаром, ради одной певички... Но как они не видели, что это был труп?... Да, это был труп в роскошной тяжелой бальной накидке, облежавшей и поддерживавшей ее словно, саван из розового бархата, вышитого золотом... Настоящий гроб королевы Испанской. Но они, потешавшиеся над ее белым голосом и над ее худобой, находили ее смешной и даже забавной... Забавной! Этот неопределенный и расплывчатый эпитет, который они прилагают теперь ко всему. У этой женщины была головка, выделявшаяся какой-то красотью покойницы среди вороха мехов ее бального мантио, а они разбирали ее по кос-

---

\* Театральные служительницы, от *фр. ouvreuse* (*Прим. ред.*).

точкам, в особенности заинтересованные романом, приписываемым этой женщине — маленькой буржуазке, предавшейся высшему разгулу вследствие склонности к какому-то повесе; и никто из них, да и никто вообще в этой зале не видел того, что поразило прежде всего мой взгляд: висящие, как плети, на белом шелку платья руки певицы, — руки скелета, связки костей, затянутые в белые шведские перчатки, руки выразительности Альберта Дюрера, мертвые пальцы, плохо прилаженные к концам слишком длинных и слишком тонких рук манекена... И в то время, когда зала, содрогавшаяся от хохота, своими глупыми шутками и животными криками делала мучительную овацию этой женщине, во мне возрастало убеждение, что ее руки не принадлежат ее телу и что это тело с слишком высокими плечами не принадлежит ее голове, и это убеждение навело на меня такой страх и такое беспокойство, что я уже не слушал живую женщину, но какой-то автомат, наскоро кое-как слаженный из отдельных частей, — мертвую, наспех восстановленную больничными средствами, какой-то призрак смерти; и этот вечер, начавшийся, словно сказка Гофмана, закончился больничным видением...

О! эта забава гогочущей толпы — как она ускорила ход моей болезни!

*Май 1898 г.*

Сестры, лилии печали, я томлюсь о красоте.  
Обо мне бы вы мечтали в вашей чистой наготе.  
Нимфы светлого бассейна, в ожидании напрасном  
К вам принес я слезы тихим вечером и ясным.  
Гимны солнца замолчали. Вечер, влага, тишина.  
Тени легче и длиннее над травой золотою.  
Снова зеркало подъемлешь ты, коварная луна,  
В час, как зеркало бассейна уж окуталось мглою.  
И с тоскою я внимаю тростников созвучный стон.  
Красотой моей печальной, о сапфир, я утомлен, —  
Светлый мой сапфир античный и родник волшебства злого,  
Где, в твоём фатальном блеске, смех и радости былого  
Позабыл я навсегда!

Когда-то в часы тоски мне стоило только открыть мои ларчики и приложить к вискам холодные кристаллы драгоценностей, чтобы их освежить... В особенности меня успокаивала темная лазурь сапфиров; сапфир — камень одиночества и безбрачия, сапфир — взгляд Нарцисса... Франц Эбнер, мюнхенский ювелир, привез мне прекрасные индийские сапфиры, такой ясной и глубокой воды, словно в них воплотилась вся прозрачность цейлонских ночей, — полночные сапфиры, ласками которых я когда-то утешал пылание моей крови.

Прекрасные стихи Поля Валери, какое успокоение нисходило на меня от их тонкой и величественной меланхолии! Моей ужасной болезни они противопоставляли клеймо Нарцисса; но это клеймо казалось мне прохладным в сравнении с тем адским пламенем, которое зажгли во мне скорбные глаза Антиноя... Сапфиры уже не успокаивают меня с тех пор, как меня преследуют маски.

*1 июня 1898 г.* — Не от того ли, что я слишком долго созерцал холодные кристаллы драгоценностей, мой взгляд приобрел эту ужасную пронизательность? Дело в том, что я страдаю и умираю от того, что не видят другие, а вижу один я! Мои галлюцинации — это только одно лишнее чувство: это какие-то безымянные движения души, вышедшие наружу и сообщающие всем этим лицам видимость масок. Я всегда страдал от уродливости людей, встречающихся на улицах, в особенности от уродств низшего класса — рабочих, отправляющихся на работу, мелких служащих, прислуги и хозяек, уродливое и смешное безобразие которых еще усиливалось пошлостью современной жизни со всеми ее унижающими помесями... О! вспомнить только лица, — лица людей, ожидающих омнибус в крохотных уличных будках в дождливый ноябрьский день!

Уродства парижских улиц, убожества этих затылков с редкими волосами, невзрачные лица прислуг, бегающих за покупками, бледные анемичные губы и косые из-под угреватых век взгляды преследующих женщин! Ах! уродливости парижской улицы! С наступлением холодов они стано-

вятся еще ужаснее! Но в этом случае, по крайней мере, я могу себе их объяснить.

Эти жалкие лица старых рабочих и мелких буржуа, обремененных каждодневными заботами, перед которыми вечно стоит грозный призрак нищеты и ужас «конца месяца»; утомленность всех этих бескопеечных в борьбе за существование, за жалкую, будничную жизнь — вся эта убогая жизнь без едкой мысли о чем-либо более высоком создала эти плоские и сумрачные безобразия.

Возможно ли найти взгляд в этих глазах, отупелых или ожесточенных ненавистью, в глазах этих несчастных голяков, апатичных или преступных? Разумеется, если в них и присутствует мысль, то она может быть только низменной или гнусной: в них вспыхивают лишь только искры наживы или воровства; если мелькнет сладострастие, то только продажное и обирательское. Каждый наедине с собою мечтает только о том, как бы ограбить или надуть другого.

Современная жизнь, — роскошная, беспощадная и скептическая, — превратила всех этих мужчин и женщин в бандитов или тюремщиков: эти плоские и злые головы гадюк, хитрые заостренные морды грызунов, челюсти акул и рыла свиней — все это порождения зависти, злобы, отчаяния, эгоизма, скупости, превратившие человечество в зверинец, где каждый низменный инстинкт запечатлевается в чертах животного... Но эти гнусные личины! И подумать, что я долго считал их достоянием неимущих, о, классовое предубеждение против неимущих!

Какое богохульство! Я не всматривался в «своих».

10 июня 1898 г. — Радость в моем Аду, — луч утешения в мрачных потемках, где я отбиваюсь от моих преследователей — если может быть утешение в сознании того, что я отбиваюсь не один!

Еще одного человека преследует то же, что меня, — другой также боится и видит повсюду преследующие его маски, и этот человек великий английский художник, которого знает вся Европа, одно из имен, которыми гордится Лондон: Клавдий Эталь, — знаменитый Эталь, который после

громкого процесса с лордом Кернеби должен был удалиться из Англии и поселился в Париже.

Лорд Эталь также видит повсюду маски; он даже непосредственно отделяет маску от каждого человеческого лица. Сходство с каким-либо животным — первое, что его поражает в каждом встречающемся существе... И от этого ужасного ясновидения он страдает с такой остротой, что должен был отказаться от своей профессии. Он, великий художник-портретист, он отныне будет писать только пейзажи, — он, Клавдий Эталь, творец «Девушки с розой» и «Дамы в зеленом».

Какое тайное предчувствие предупредило его о моей болезни? Привел ли его инстинкт, или сведения, сообщенные ему нескромными друзьями, но он подошел ко мне неожиданно третьего дня в гостях с фамильярностью, недопустимой для обычного предобеденного знакомства, и сказал мне этим тихим и внезапно изменившимся голосом, с таинственным видом соумышленника: «Не находите ли вы, господин герцог, что маркиза де Сарлез необыкновенно походит сегодня на аиста?»

Это была шутка и это была правда.

И, действительно, маркиза де Сарлез казалась в этот вечер ужасным кошмарным аистом со своей длинной жилистой шеей, длинным лицом, круглыми глазами под перепончатыми веками, с длинным, заостренным, подобно клюву, носом и фальшивыми волосами, плотно прилегающими к черепу. Сходство показалось мне вдруг разительным, и я почувствовал, как мой ум погружается в неведомое; ибо среди яркого света люстр, вдоль высоких окон, завешанных бледно-зеленым шелком, и в амбразурах дверей залы отеля де Сарлез стали вдруг наполняться масками.

Это англичанин вызвал их и противопоставил моему зрению. Дама у рояля, которая пела, полуобнаженная, словно увлекаемая вперед тяжестью своего горла, вдруг показалась мне в профиль бляющей козой; ее белокурые волосы сделались похожими на волнистую шерсть. Де Трамзель выказал морду лисицы, Миро, романист — пасть гиены; у группы сидящих женщин — целый цветник знатных дам —

оказались физиономии рогатых животных, водянистые глаза жующих жвачку коров рядом с срезанными лбами хищников и круглыми глазами хищных птиц.

Ужасный англичанин называл мне все эти сходства... У рояля, дама с бараньим лицом, графиня де Барвиль, продолжала блять свою арию; пианист-профессионал, с выпученными глазами жабы на жалком плоском лице, аккомпанировал ей порывистыми взмахами рук.

Клавдий Эталь, склонившись к моему уху, продолжал называть мне всех этих чудовищ: и всю анфиладу зал отеля де Сарлез, этот демонический англичанин буквально наводнил призраками, словно околдовав атмосферу, всю кишашую масками, подобно капле воды под микроскопом, выявляя все ужасающие черты гнусных мыслей и инстинктов. Вокруг нас корчились и кружились мрачные тени.

Кошмар рассеялся, когда англичанин умолк.

## ИСЦЕЛИТЕЛЬ

*Июнь 1898 г.* — Что за человек этот Эталь? Искренен ли он, замечательный ли он художник, или просто мистификатор?.. Я вышел из его мастерской взволнованный, заинтригованный, под обаянием его чар; был момент, когда я чувствовал себя исцеленным... Хотя нет, ибо я так же волнуюсь, как прежде. Только волнение это другого рода — менее тревожное для меня самого, но более тревожное за человека вообще!

Какой он изумительный импровизатор, какая масса у него идей — новых, странных и, кажется, верных.

Этот Эталь меня околдовал, и я ничего не видал в его мастерской — ни одного карандаша, ни одного наброска, ни одного клочка полотна... И какая странная мастерская у этого изысканного и чувственного художника! Четыре голых стены, освещенные холодным светом большого окна, вид на крыши и какие! Пантеон и башни Сен-Сюльписа, ибо этот англичанин нашел возможным поселиться на том берегу позади Люксембурга...

И в этом обширном помещении с таким высоким потолком, что он кажется уходящим в мрак — ни одной безделушки, ни одного светлого пятна старинной ткани или позолоченной рамы: суровая обстановка мастерской художника-декоратора. Впрочем, одна роскошь странная среди этой суровости: лоснящийся паркет, в который можно смотреться как в зеркало, и в одном углу высокое зеркало в стиле ампира между двумя стойками красного дерева, увешанными масками.

Маски Дебюро, — бледные физиономии Пьеро с поджатыми ноздрями и тонкой усмешкой губ; японские маски — одни из бронзы, другие из лакированного дерева; маски итальянских комедиантов из шелка и раскрашенного воска, некоторые даже из черного газа, натянутого на нитки латуни, таинственные венецианские маски, страшноватые,

словно персонажи Лонги; целая гирлянда гримасничающих лиц, окаймляющая спящую поверхность зеркала.

Я пришел посмотреть художника и его живопись, но наткнулся на целую коллекцию масок. Первым ощущением был момент ужасного страха.

«Я их достал для вас, — сказал Эталь с грациозным жестом учителя танцев, — у меня довольно полная коллекция. Маски Дебюро становятся уже довольно редки; кроме того, у меня есть несколько любопытных венецианских; эти теперь уже невозможно найти. Об японских я не говорю. Японию можно теперь найти в Лондоне и на авеню Оперы». И, так как я продолжал быть настороже:

«Не бойтесь ничего, — единственная возможность вылечиться вам от навязчивых идей масок — это освоиться с ними и видеть их ежедневно. Созерцайте их долго и пристально, возьмите их в руки, проникнитесь их ужасающей и гениальной уродливостью, ибо среди них есть произведения великих художников. Их кажущаяся уродливость ослабит в вас тягостное впечатление человеческой уродливости... Лечение подобным — это принцип гомеопатии; я знаю ваш случай, это то же, что было со мною. Я покинул Лондон только из-за этого... Дымная атмосфера и туманы Темзы весьма способствуют выявлению призрачной стороны людей. Я чувствую себя гораздо легче с тех пор, как живу в обществе этих масок! Поэтому я велел их достать для вас». И, изогнувшись с забавной грацией танцора, Эталь указал мне на кушетку красного дерева в том же стиле, как и зеркало; целая куча масок загромождала ее.

Должен признаться — там находились маски очаровательные и маски отвратительные. Особенно восхищали художника японские маски: маски воинов, маски актеров и маски куртизанок, некоторые ужасные, искривленные и судорожные, — бронзовые щеки, испещренные тысячью морщинок и точками киновари в углах глаз, зелеными струйками в углах губ, похожими на сгустки желчи. Англичанин ласково гладил их длинные приклеенные черные волосы. «Это маски демонов, — сказал он, — самураи надевали их в сражения, чтобы ужасать неприятелей. Вот эта

маска, покрытая зеленой чешуей, с продетыми в ноздри опаловыми подвесками — это маска морского гения. Эта — с ключьями белой шерсти вместо бровей и двумя кисточками конского волоса над губами — маска старика. Эти — белые как фарфор, из тонкой и гладкой материи, подобные нежным щечкам мусме — это маски куртизанок. Видите — они все походят друг на друга нежностью ноздрей, округлостью лиц и плотностью опущенных век; все они похожи на изображения богинь. Волосы их, не правда ли, такого прекрасного черного отлива? Эти — что прыскают со смеху в своей неподвижности — это маски комических актеров».

И этот человек-дьявол называл мне имена демонов, богов и богинь; его эрудиция повергла меня в восторг: «Еще бы, я так долго жил с ними!» Теперь он дотрагивался до легких, из газа и раскрашенного шелка, — прелестных венецианских масок.

«Вот Кокодрилья, вот капитан Фракассо, вот Панталон и Матамор. Они отличаются только носами и взлохмаченным усом — если вы посмотрите на них вблизи. Эта маска белого шелка с огромными очками — не правда ли, наводит комический страх? Это доктор Курикуку — персонаж из сказок Гофмана. Что касается этого, заросшего гривой, с длинным носом лопаточкой, похожим на клюв аиста, — можете ли вы себе представить что-нибудь более ужасное? — это маска Дуэньи. Можно было поручиться за сохранность своей возлюбленной, когда она ходила по городу в сопровождении особы, украшенной подобным придатком. Вот перед нами весь карнавал Венеции в домино и мантиях, увековеченный в этих масках. — Хотите гондолу? Куда мы поедем: к собору Святого Марка или на Лидо?»

И он смеялся. Его веселость оглушила меня, и я хохотал также, очарованный его красноречием, ослепленный блеском стольких воспоминаний, и я уже не видел больше в дырках глаз всех этих масок ужасных искр адских, которые когда-то вспыхивали в них для меня.

«На сегодня довольно, — объявил он после полутора-часовой беседы, — вам нужно приходить сюда как можно

чаще. Ваш случай так интересен! Когда вы больше привыкнете — мы посмотрим вместе альбомы великих художников уродства — Роландсона, Хогарта и в особенности Гойи. Ох! гений его причуд — успокаивающие уродства его колдуний и нищих! Но теперь вы еще не готовы для восприятия этого беспощадного испанца. Его произведения — вот источник исцеления. Есть еще Ропс, но сладострастие этого художника разбудит в вас страсти, которые не нужно тревожить. Еще, пожалуй, Энзор и его кошмары современности, когда вы будете на пути к выздоровлению. Видите, я предпринимаю целый курс лечения.

Если бы мы были в Мадриде, я бы посоветовал вам ходить каждое утро в музей Прадо смотреть безумцев Веласкеса, сумасшедших Габсбургов; там есть на все вкусы... А пока пойдите в Лувр. Вас многому научит Антонио Моро, знаменитый карлик герцога Альбы. Прежде всего, вы привыкнете к моему лицу: говорят, что он на меня походит, а затем — прощайте или до скорого свидания.

Вы наверное исцелитесь».

*Июль 1898 г.* — Почему Эталь сказал мне, что он походит на Антонио Моро в Лувре? Для того, чтобы меня взволновать или чтобы посмеяться надо мною?

Этот Эталь, кажется, ужасный мистификатор. В Лондоне он практиковал свой фумизм с такими изощрениями и шутками, что должен был удалиться во Францию; его положение там становилось невозможным. Его процесс с лордом Кернеби из-за портрета герцогини явился только счастливым предлогом; на самом же деле он должен был бежать от взрывов возмущения, злобы и негодования, которые он умел возбуждать с искусством, возвышавшим в нем мистификатора над художником-портретистом. Скандал его осуждения, проигранный им процесс, были только возмездием; суд осудил в нем гораздо более несправимого фумиста, чем желчного и сварливого художника.

В течение десяти лет, сильный своим талантом и именем присяжного художника аристократии, почти гарантированного в своей безнаказанности доверием своих клиен-

тов, он высмеивал эту аристократию, ее спесь и лицемерие — то, что особенно мучительно терзало его душу. Рассказывают о нем ужаснейшие истории: во-первых, историю с маркизой Клейвенор, княгиней и фрейлиной королевы, приглашенной им к завтраку в его виндзорскую мастерскую в окрестностях Лондона; и там вдруг ей был представлен ужасающий портрет двух клоунов-эксцентриков, братьев Дарио, которые три года тому назад взбудоражили все шантаны Нью-Йорка и Лондона, — один великан — Реджинальд Дарио, другой — карлик — Эдуард Дарио. Леди Клейвенор только накануне видела обоих эксцентриков в «Аквариуме» и образ их кривляющихся лиц еще слишком живо хранился в ее памяти. Леди Клейвенор предполагала найти в мастерской Эталь портреты женщин и детей; и попала в сумерки на этот кошмар — изуродованные лица двух феноменов; затем в мастерской вдруг стало темно. Это было в конце декабря, зимний день быстро угасал, и леди Клейвенор вдруг увидела, что она одна в пустынной мастерской. Эталь исчез, и в то время, как она, вся дрожа от страха, начала искать дверь, выход под портьерами, которые не отодвигались, — призрачный портрет начал оживать... Сначала выскочил, подобно жабе, из рамы карлик, затем вылетел великан, худой, длинный, хлопая крыльями, словно вампир, и вокруг несчастной женщины, упавшей на пол, начинается странный шабаш... Клоуны начинают ужасным образом изгибать торсы и руки — то же она видела накануне в «Аквариуме», но теперь в этой пустынной, уединенной мастерской это принимает призрачный, химерический вид, — танец этих двух лярв кажется еще страшнее среди тишины и мрака.

Два эксцентрика, нанятые и выдрессированные заранее Эталем, добросовестно исполнили свой номер; но последствием этого приватного сеанса было то, что леди Клейвенор с неделю лежала в постели, и если бы она не находилась в это время в стадии развода со своим мужем, злой шутник Эталь получил бы вызов на дуэль...

«Эта божественная маркиза, — говорил художник в виде извинения, — всегда заявляла, что она признает только

самые неожиданные, самые потрясающие и самые сильные эмоции. Я думал угодить ей этим зрелищем, — и прибавил, прищелкивая языком с видом тонкого знатока, — бедная миледи! Я еще никогда не видел на человеческом лице такого интенсивного, такого великолепного выражения ужаса. Я смотрел на нее в восхищении: здесь было и сладострастие, и испуг, и ужас, и очарование... Я мог бы сделать в память этого портрет изумительной леди Макбет — леди Макбет-сомнамбулы».

И это еще из мелких проделок, рассказываемых об этом человеке-дьяволе!

Во время его походов в Уайтчепеле с леди Фердит, американкой-миллиардершей, сумасбродной, дурно воспитанной эфироманкой, питавшей нездоровое любопытство к этому кварталу проституток и воров, дело заходило еще гораздо дальше. Два подосланных мошенника, воспользовавшись склонностью этой дамы к мрачным ощущениям, будто бы повели себя с нею как с проституткой, блуждающей там по вечерам, и ночное нападение окончилось грабежом и насилием, на которые, впрочем, американка не осмелилась жаловаться: у нее отняли драгоценности, оскорбили ее честь и все-таки эта искательница приключений ни о чем не сожалела и даже внушила художнику одну из его лучших картин, выставленную под названием «Мессалина». Из этого можно заключить, что проделки Эталя иногда имели успех.

Наконец, в заключение серии его похвальных сумасбродств следует история портрета баронессы Дерод, крещеной евреечки, занимавшей целый год газеты своим разводом, своими эстетическими костюмами и мебелью зеленого лака. В припадке снобизма Ильзи (так называли ее в интимном кругу) вдруг пришла фантазия иметь портрет, написанный Эталем; Гадара и Геллей — ее придворные портретисты — уже не удовлетворяли ее больше. Чтобы добиться этого портрета, она пустилась на все, поселилась в Лондоне, пустила в ход все свои связи. Уистлер и Херкмер, уже писавшие ее, были отправлены упрашивать Эталя, а затем начался ряд обедов и приемов в отеле Черинг-

Кросса, куда Ильзи перевезла всю свою парижскую обстановку, чтобы пустить пыль в глаза этим простакам-англичанам: мебель зеленого лака с инкрустациями из алмазов, изумительный саксонский фарфор, единственный в своем роде Севр и всю коллекцию лягушек, Масье, Каррье-са, Лашеналья, Биго и японцев, ибо, фетишистка, как все представительницы ее расы, баронесса Дерод была страстной поклонницей лягушек, так же, как граф де Монтескье был поклонником летучих мышей, и оба воображали, что поразят весь свет... О, убожества! О, тщеславие! О, ничтожества!

Словом, баронесса добилась страстно желаемых сеансов от художника. Эталь согласился, не заставив себя особенно умолять; он даже согласился увековечить баронессу в Черинг-Кроссе, среди ее обстановки, мебели зеленого лака, лягушек и привычных безделушек. Баронесса была в восторге: ей удалось приручить дикаря и упрянца, за которого слыл великий Эталь; она сообщила своим приятельницам: Эталь согласился рисовать у нее дома, чего он никогда не делал ни для кого. Впрочем, на одном условии: она увидит портрет только по окончании. После каждого сеанса он уносит с собой портрет и приносит на следующий. Условия довольно суровые, но их пришлось принять. Художник принялся за работу и когда, по окончании, вся рать друзей и знакомых была созвана в мастерскую художника, чтобы полюбоваться портретом Ильзи, — что за ужас, что за изумление!.. Среди своих фаянсовых и бронзовых гадин сидела сама Ильзи с зеленой головой, с глазами цвета соленой воды, громадными, с золотыми кругами на раздавленном лице, с горлом, похожим на зоб; ее оголенные руки жилистой и дряблой кожи скрещивались на этом зобе перепончатыми пальцами: баронесса Дерод превращена в лягушку, феерическую и человекообразную лягушку, царящую среди своих подданных... Баронесса отказалась принять портрет и подала на художника в суд. «Чего вы хотите? — удивился Эталь. — Всему причина ее наружность; она соблазняет на карикатуру и отбивает охоту писать портрет». И еще рассказывают об Этале проделки ме-

нее похвальные. И этот человек претендует меня исцелить; я в его руках. Чего он хочет от меня? Признаюсь, что меня охватывает страх, — этот англичанин меня пугает».

## В ПЛЕНУ

*Июнь 1898 г.* — Этот человек сказал правду: он походит на карлика герцога Альбы. Я три раза возвращался в Лувр и погружался в созерцание портрета Антонио Моро, и с каждым разом это отвратительное сходство усиливалось: Эталь — ужасный двойник гнома, созданного фламандским художником.

У него такая же огромная голова, толстая шея, длинное туловище, словно колеблющееся на коротких ногах, что-то искривленное во всем теле. Руки карлика — узловаты и волосаты, его искривленные пальцы покрыты тяжелыми кольцами — точь-в-точь руки и пальцы Эталя. У Эталя такой же низкий лоб, брови щетиной и нос луковицей; такой же рот с саркастической усмешкой; такие же тяжелые веки, под которыми сверкает затаенная злоба.

Это злое и чувственное лицо кобольда, наряженного королевским шутом, поразительно схоже с лицом моего художника. В нем чувствуется наблюдательная и скрытая душа, душа фавна, вся сотканная из сладострастия и иронии, плохо скрываемых под маской спеси и лицемерия. И, конечно, блестящая мишура и дурацкий колпак с бубенчиками пошли бы ему лучше, чем фрак — больше соответствовали бы его лукавой природе комедианта... В особенности бросается в глаза в его наружности одна подробность: это волосатая грудь, цинично выглядывающая в необъятный вырез ворота — грудь извозчика, где, кажется, притаился какой-то ужасный паук, обросший черной щетиной...

На все эти безобразные и даже отвратительные подробности я не обратил внимания во время наших первых встреч; так велика власть ума этого человека-дьявола надо мною. Я заметил их только впоследствии, и Эталь сам позаботился обратить мое внимание на это сходство. Я открыл все это уже только тогда, когда он сам послал меня в Лувр, сам обратил мое внимание на ужасающее сходство между этим отвратительным карликом и им!

Зачем?.. И странно то, что это уродство, вместо того, чтобы отталкивать меня, привлекает. Этот таинственный англичанин держит меня во власти каких-то чар, я уже не могу обходиться без него.

С тех пор, как я познакомился с ним, все другие стали мне невыносимы, в особенности их разговоры. О! в какую меня повергают тоску и ярость их поступки и поведение, и все, и все!.. Люди моего круга, мои печальные сородичи — как все, что исходит от них, раздражает, и печалит, и тяготит меня; их пустая и суетная болтовня, их извечное и чудовищное тщеславие, их ужасающий и еще более чудовищный эгоизм, их клубные сплетни!

О! перемалывание их заученных мнений и суждений, автоматическое пережевывание прочитанных утром газетных статей, ужасающее отсутствие всяких мыслей и ежедневная порция трафаретов о скачках и альковах проституток... и «женщинок». «Женщинки»... вот еще образчик их жаргона — затрепанное, ничего не выражающее понятие!..

О! мои современники, мои милые современники с их идиотским самодовольством, с их жирным тщеславием, дурацким афишированием состояний, — двадцать пять и пятьдесят золотых — звонкие обещания всегда одних и тех же цифр, их куриное кудахтанье и поросячье хрюканье при именах некоторых женщин, неповоротливость их мозгов, бесстыдство взглядов и убожество веселья! В сущности — это картонные арлекины, играющие в любовь, с их развихленными жестами и дурно понимаемым шиком (шик — это гнусное слово, идущее, как новая перчатка, к их утрюмым ухваткам гробовщиков или грубому веселью Фальстафа)... О! мои современники, начиная с еврея-банкира, покупающего вас всех и цинично вербующего для своих афер, и кончая жирным журналистом, вхожим также ко всем, но с меньшими правами, и вслух рекламирующим свои статьи, — как я их всех ненавижу, как я их всех проклинаяю, как я хотел бы излить на них всю свою желчь и горечь, и как я понимаю бомбы анархистов!

Каким образом Эталь разбудил во мне эту бешеную ненависть?!.. Разумеется, эта ненависть к людям, это отвра-

щение, особенно к «свету», всегда таились во мне, но они дремали где-то глубоко под слоем пепла... Но с тех пор, как я вижу с ним, словно какие-то дрожжи вскипают во мне, подымается ярость, точно пена в молодом вине — в вине ненависти и проклятия; вся моя кровь кипит, тело ноет, нервы возбуждены неистово, пальцы сжимаются, жажда убийства пронизывает мой мозг... Убить кого-нибудь! О! как это успокоило бы меня, утишило бы мою ярость... и руки мои какнутся мне руками убийцы.

Так вот какво обещанное исцеление! И, однако, присутствие и беседа с Эталем приносят мне облегчение, его присутствие ободряет меня и голос успокаивает... С тех пор, как я вижу его, мрачные видения, дразнившие меня, стали реже являться; меня уже не преследуют навязчивые маски... исчезло безумие зеленых глаз, изумрудных зрачков Антиноя!..

Этот человек словно заколдовал мою болезнь — я уже не страдаю больше манией взглядов, взглядов и взглядов; беседа с ним так очаровательна, — у него такая бездна интересных идей, его малейшие замечания находят во мне такой отклик. Это *мои* мысли, хотя бы самые отдаленные, даже почти неродившиеся, о существовании которых я даже не подозревал, но его слова вызывают их наружу. Этот таинственный собеседник рассказывает мне обо мне самом, облекает в плоть мои грезы, *он говорит вслух, а я пробуждаюсь в нем*, словно в другом моем существе, более утонченном и определенном; его беседы помогают родиться моему новому существу — его жесты уясняют мои видения, ему я обязан светом и жизнью.

Он рассеял, разогнал мои сумрачные видения и они больше не угрожают мне.

А вместе с тем, эта дикая ненависть и жажда убийства растут во мне!

Быть может, это одна из фаз моего исцеления, ибо я исцелюсь, — Этал мне это обещал.

*Июль 1898 г.* — Этал, подобно мне, интересуется шантанами и публичными балами. Человеческое тело, уродст-

во которого так же печалит и возмущает его, становится для него источником невыразимой радости, если случайно оно оказывается прекрасным; чистота форм, их гибкость и мощь так же успокаивают и проясняют его. У Эталя удивительно острый взгляд, отыскивающий эту красоту под самыми жалкими лохмотьями, в самом убогом и нищенском наряде... Его чутье артиста изумительно выслеживает и откапывает, и с какою беспокойной находчивостью, эти черты красоты, в особенности среди уличных женщин, оборванцев и бродяг! И это — излюбленный художник великосветских дам.

Вкус Эталя льнет к телам бедноты подобно тому, как свинья тяготеет к падали; он сам говорит о себе с насмешкой, что у него странное и упорное влечение к язвам и рубищам...

Однажды вечером мы зашли на бал в улице Гете, возвращаясь из Версаля, — в эту залу, насыщенную разгоряченными испарениями, переполненную разряженными рабочими, ремесленниками и проститутками; и его пронзительный взгляд знатока тотчас разыскал в этой толпе пару: женщину еще молодую, худощавую, причесанную с буклями на уши под Клео де Мерод, уже поблекшую, несмотря на свою молодость. Как ярко были ее тонко сжатые губы, какие зловещие круги вокруг огромных ненасытных глаз и как мрачен взгляд, которым она следила за проделками и антраша своего кавалера.

Ее кавалер — конечно, и любовник, — оставил ее и, отойдя в сторону, с небрежным видом, в своем потрепанном вельветиновом костюме, подавшись вперед корпусом и вытянув ноги, прыгал, словно вырвавшийся жеребчик, среди танцующих, хватал победоносно всех женщин, мимоходом вертел их как волчки одну за другой, восхищенных и возбужденных, ловко повертываясь на каблуках!

А оставленная им женщина с черными бандо, худым лицом и мрачным взглядом, наблюдала за ним, выслеживала и подстерегала его с глухим страхом и растущим гневом; остальные женщины образовали круг, и он, возбужденный, изображал из себя душу общества, щеголял вывер-

тами ног, прыжками и разными антраша. Отряхнул полы своей куртки, подошел вразвалку, поклонился до земли бледной и молчаливой девушке и, выгнувшись, словно играя в чехарду, просунул между ног усмехающееся лицо, продолжая кривляться.

В наэлектризованном зале раздалась аплодисменты, взрывы хохота. Девушка позеленела; одной рукой она шарила в кармане под фартуком, но вдруг он схватил ее за талию, сжал жадным объятием, стиснул губы бешеным поцелуем и, глядя друг другу в глаза, с еще влажными губами, крепко сцепившись, переплетаясь ногами и тесно прижимаясь друг к другу — она, все прощая, со смешком польщенной женщины, он — гордый и манящий сердце — вальсировали и вертелись, горделиво афишируя наконец заключенный мир, на глазах у всех страстно желая друг друга.

«Негодяй красив, — прошептал Эталю мне на ухо, — девчонка не соскучится нынче ночью».

Я вздрогнул, — его голос словно пробудил меня от сна. Острый и блестящий взгляд Эталю вонзился в меня, словно лезвие, я чувствовал, как вошло в меня его холодное острие; он наблюдал за моим настроением, знал мое желание вплоть до бессознательного волнения, пробужденного во мне этой сценой и этим малым... И я почувствовал, что во мне клокочет ненависть — ненависть к Эталю и к любимице этого негодяя!

И это — обещанное мне исцеление... Я боюсь этого англичанина, его голос пробуждает во мне гнусные представления, его присутствие угнетает меня, движения вызывают мерзостные образы.

*20 июля.* — Эталю уехал. В понедельник его отозвали в Брюссель письмом; этот спешный отъезд был вызван продажей картин и эстампов. Он должен был вернуться на третий день. Самое позднее — в четверг. И вот уже больше недели, что он сидит там, то и дело возвещая мне о своем возвращении лаконическими телеграммами; но телеграмм

на моем столе уже целая грудка, а мой друг все еще не возвратился.

Какое место он занял в моей жизни, как мне его не хватает! Его присутствие сделалось мне так необходимо, что со времени его отъезда какой-то голод терзает меня, раздрает мое существо. Это положительно ощущение голода, и в то же время я задыхаюсь и изнемогаю. И, однако, я чувствую, что боюсь и ненавижу этого зловещего англичанина.

25 июля. — *Три невесты* Торопа. Это мне прислал Эталь — чрезвычайно редкая гравюра, которую он купил на этой продаже и которую послал мне вместе с письмом, возвещающим его приезд в понедельник. Через три дня! Да ведь это выйдем две недели.

Тороп, Ян Тороп, мне знакомо это имя; он очень известен в Голландии. *Три невесты*.

Это какая-то квази-монашеская чертовщина: среди пейзажа, наполненного лярвами, свивающимися, кривляющимися, словно туча пиявок, встают под звон колоколов три призрачные женские фигуры в саванах из газа, подобные испанским мадоннам. Три невесты. Невеста Неба, невеста Земли и невеста Ада... И у невесты Ада — с двумя змеями, извивающимися на висках и придерживающими покрывало — самый привлекательный образ, самый глубокий взор, самая обаятельная улыбка.

Если бы она существовала, как бы я полюбил эту женщину! Как я чувствую, что эта улыбка и этот взгляд в моей жизни означали бы исцеление!

Я не устаю рассматривать и изучать обаятельное лицо. *Три невесты* — очень странная вещь в деталях и композиции: здесь фантастика и мечта переданы с изумительной изысканностью; здесь смешивается манера Гольбейна и видение курильщика опиума.

«Это католицизм азиатов, — пишет мне Эталь в своем письме, — ужасный, кошмарный католицизм, объясняющийся тем, что этот голландец Тороп — по рождению яванец. Я знаю, что вам понравится этот Тороп.

На свете существуют только три художника, изображающие взгляд, который вы ищете: он, Берн-Джонс и великий Кнопф.

Я знаю, которая из этих трех невест пленит ваше сердце: не правда ли, — невеста Ада обладает взглядом, который вас преследует?»

## СЕРИЯ ОФОРТОВ

«Это католицизм азиатов, — католицизм извращенности и экстазов, — ужасный, кошмарный католицизм, объясняющейся тем, что этот голландец Тороп — по рождению яванец.

Я знаю, что вам понравится этот Тороп.

На свете существуют всего три художника, изображающие взгляд, который вы ищете: он, Берн-Джонс и великий Кнопф.

Я знаю, которая из этих трех Невест пленит ваше сердце. — Не правда ли, Невеста Ада обладает взглядом, который вас преследует?»

И вот я снова во власти видений, снова меня преследуют аквамариновые глаза... Коснувшись моей раны, Эталь ее растревожил... Раны? Она едва затянулась... Зачем Эталь послал мне этот офорт, который меня волнует, и это письмо, которое меня еще больше страшит! О! наваждения изумрудных глаз!

Ужели это — обещанное исцеление!.. В нем сидит мистификатор. Может быть, он ведет жестокую игру и, растравляя мою болезнь, только усиливает ее?

3 августа 1898 г. — Он должен был приехать, он назначил свое возвращение на вчерашний день.

Пришла телеграмма. «Антверпен. Отъезд отложил. Еду в Остенде повидать Энзора. Очень интересный художник. Пришлю вам его маски, если удастся достать: знаю — он в стесненном положении. Вчера, — еще до письма — открыл здесь у антиквара ряд рисунков Гойи, серию его *Причуд*, сокровище. Посылаю один из них, чтобы вы запаслись терпением. Вглядитесь в него. Письмо следует. Привет. — Август 1898 г.»

Я получил офорт, о котором идет речь. Набросок превосходен. Это курносое лицо, искаженное гримасой, с глазами ясновидца, глазами, пылающими, словно факелы в

провалившихся орбитах; голова Сократа — вся жизнь которого сосредоточена во взгляде; голова алхимика или отшельника, костлявая, высохшая, похожая на голову летучей мыши с тонкими, словно иссохшими в молитвах губами, — провалившимися губами старухи. К тому же неожиданно срезанный подбородок, придающий профилю вид морды, и надо всем этим возвышается огромный лоб, от тяжести которого, кажется, готовы лопнуть виски; ужасающая несоразмерность гигантского мозга.

Абсолютное отсутствие волос придает этой голове вид гладкого и фантастического черепа — черепа, под которым совершенно исчезает жалкая мордочка; и гладкая, словно полированная кость этого изумительного черепа пенится, и волнуется, и дымится. И череп трепещет, вздымаемый испарениями, словно крышка котла, и бледные волнующиеся испарения кажутся во мраке офорта то мордами гримасничающих зверей, то лярвами, то гнусными фигурами обнаженных. Чудовищный мозг населяет мрак ночи угрозами и проклятиями.

На полях, как бы подчеркивая этот ужасный кошмар, было приписано изречение Гойи по-французски и по-испански:

«Гений, лишенный разума, порождает чудовищ».

Зачем Эталь прислал мне это? Что хочет он мне этим сказать? Какая его цель? Какой смысл этого ужасного офорта и его присылки мне, ибо этот редкостный набросок причиняет мне страдание, — манит, отталкивает и снова привлекает меня... В пронизательном взгляде этих глаз словно заключен яд!

И эти ужасные пиявки с человеческими лицами, эти пляшущие запятые, — порождения этого черепа — причиняют мне страдания.

После Торопа — Гойя! Сколько бы я ни старался понять — не нахожу объяснения! И это возвращение, откладывающееся со дня на день.

Какую зловещую игру затеял со мной этот таинственный англичанин?

*5 августа.* — Всю ночь странные видения копошились у моего алькова: необычного вида гады с клювами аиста, крылатые жабы, похожие на летучих мышей, огромные скарабеи, кишасщие внутри глистами и червями, младенцы, превращающиеся в пиявок, и ужасные фантастические насекомые и инфузории.

Я замирал от страха и сражался с ужасами этого сверлящего кошмара. Офорт Гойи породил эти чудовища; я удвою мою дозу брома сегодня вечером.

8 августа 1898 г. — Письмо от Эталя. Оно помечено Остенде; письмо и сверток пергамента! Что это за новая посылка?

Сначала прочту письмо:

«Мой милый герцог, еще раз прошу у вас извинения. Я вас надуваю третий раз, а вы отказались этим летом от ваших лечебных вод и от Тироля, чтобы остаться в Париже со мною... Я был бы последним негодяем, если бы у меня не было серьезных оснований заставлять меня дожидаться. Изумительная вещь, — произведение шестнадцатого века, исключительной редкости, музейная находка, которую невозможно найти в продаже, указана мне Энзором поблизости, в Голландии, в самом Лейдене.

Вещь находится у старого коллекционера, собрания которого идут сейчас с аукциона. Бедняга помешался и его семья ликвидирует дела; такие продажи единственно доступные. Бедственные для продающего, они выгодны для покупателя.

Через час я отправляюсь в Лейден — вернусь с вещью или не вернусь, ибо если она такова, как мне ее описал Энзор, это — вещь исключительная и я прославлюсь через нее. Чтобы скопировать ее, я примусь за кисть и напрогую все мои способности: я нарисую ее или никогда больше не притронусь к полотну.

Вы ее увидите — увидите и полюбите как меня, может, даже больше и тогда у меня окажется соперник.

Неужели эта вещь окажется не такой, как мне ее описывал Энзор! Этот Энзор видит воображением, но его зрение необычайно совершенно, почти геометрической точности; он один из тех редких, которые видят. Его так же, как и нас, преследуют маски. Это такой же зрячий, как и мы с вами; буржуи считают его сумасшедшим.

Я рассказал ему о вас и он, разумеется, заинтересовался; он даже воспылил страстью к вам, не зная вас; больные понимают друг друга, и в знак симпатии он выбрал из своих рисунков один из наилучших офортов и просил передать его вам; я пересылаю его с его подписью. Это если не самый лучший, то, по крайней мере, самый значительный офорт из всей этой серии.

Вы увидите, что за человек этот Энзор и как он изумительно угадывает незримое и атмосферу, порождаемую нашими пороками... пороками, которые превращают наши лица в маски.

Теперь ждите телеграмму из Лейдена, которая возвестит успех моего дела и на этот раз мое возвращение.

Эталь».

И вот снова отсрочка его возвращения. Его отсутствие продолжено — и на какой срок? Можно подумать, что он задался целью нарочно нервировать меня и испытывать мое терпение.

А эта вещь исключительной ценности, которую он отправился приобретать в Голландии и с которой он хочет нарисовать шедевр. Что это может быть? — Еще какая-нибудь мистификация.

Меня раздрает любопытство и в то же время сомнение, подозрение и растущий страх.

Я угадываю цель посылок этих ужасных гравюр; они угнетают мой ум, наполняют мое воображение ужасом и беспokoйством... И к тому же нервная тревога этого бесконечного ожидания...

Я окружен какой-то тайной и тайна вошла в меня и запутала и душит меня в своих сетях; с часу на час я чувствую, как суживаются вокруг меня петли мрака...

А этот офорт Энзора, эта новая посылка? Что это еще за ужасная вещь? Я не распечатаю этого свертка, нет, я не хочу его раскрывать; нет, на этот раз я не дотронусь до этого пергамента; не увижу этой гравюры.

9 августа 1898 г. — *Похоть*. Мое любопытство преодолело; я распечатал свертки. *Похоть*: таково название офорта Энзора.

По первому взгляду кажется, что это обычная сцена, происходящая в меблированных комнатах: стены мрачного приюта любви; бархатное кресло, комод красного дерева; обычная обстановка банального буржуазного распутства. В кресле, вытянув руки на животе, развалился человек в очках, гнусного вида, с плоской и ханжеской физиономией старого нотариуса или помощника аптекаря — персонаж из «Мадам Бовари»; вытянув шею, он всем своим свиным рылом с вытаращенными близорукими глазами жадно упивается зрелищем постели: за раздвинутыми занавесами алькова с высоким ложем светятся в полумраке две голые толстые ноги, — бледное тело жирной проститутки с огромным, чрезмерно вздувшимся животом и лицом прислуги.

Возле жирного и утомленного тела проститутки виден худощавый и долговязый человек в сутане, бешено сжимающий женщину в своих объятиях, жадно присосавшийся к ее затылку! О, тупое лицо и судорога желания на лице этого человека и его глаза, закатившиеся от похоти!

*Похоть!* Сидя в кресле, толстяк в колпаке и очках созерцает, восторгается и пламенеет; довольно гнусное и жалкое зрелище, если бы силой фантазмагии оно внезапно не возвысилось до мрачного величия, ибо приют любви полон видений. Кисть художника превратила даже обои комнаты в зловещий ковер, кишачий видениями... Комната населена гномами и уродцами с телами в виде запятых; судорожные гримасы, мертвые глаза и слюнявые рты пок-

рывают стены и занавесы алькова.

Похоть трех личин, изображенных здесь — бессильная и бесплодная похоть — населила эту комнату бесформенными, зародышевыми существами: этих мертворожденных чудовищ породил наслаждающейся взгляд толстяка и алчный поцелуй семинариста.

И на этой роскошной гравюре искусной работы, но невозможно-грубой, Энзор подписал своей рукой стихи Бодлера.

Герцогу Жану де Френезу:

Лицемерный читатель, мне подобный, мой брат!

*Похоть*: и, содрогаясь от отвращения, я почувствовал внутри прежнее пламя, пробежавшее по мне.

Пусть бы древнее безумие задержалось на пути!

Рассмотрев внимательно лица этого грозного офорта, я нашел, что семинарист походит на меня; он так же художав и с таким же печальным и пристальным взглядом. Это сходство отвратительно: намеренно ли оно, или случайно?.. Я внимательно рассмотрел гравюру и мне показалось, что лицо человека, впившегося в затылок спящей проститутки, подрисовано пером.

Да, здесь есть поправки. Кто их сделал: Эталъ или Энзор? — Наверное, Эталъ. Энзор меня не знает.

Зачем они мне это прислали? О! это гадко— так меня волновать. Я чувствую, что погружаюсь в неведомый мрак, мой ум мутится, мозг пылает, а сердце, словно оторвавшись, перевортывается и колотится в груди.

И этот Эталъ обещал мне исцеление.

## ЧЕЛОВЕК С КУКЛАМИ

*13 августа 1898 г.* — Пьер де Тейрамон только что вышел от меня.

Тейрамон мой дальний кузен, — один из тех бесчисленных и отдаленных родственников, которые имеются в таком количестве у всей знати... Одно из свойств аристократии — эта свита родственников, отпрыски которой находятся повсюду — во всяком самом отдаленном провинциальном углу; привилегии и вместе с тем язва — эта армия родственничков, носящих тот же герб. Но Тейрамон один из тех редких родственников, которых я могу переносить: он даже единственный, с кем я поддерживаю некоторые отношения. Тейрамон — игрок и картежник: в училище он крал у меня мои шары; затем в городе он продолжал делать долги для своих игр в клубе и, так как он без средств и без предрассудков, я взял на себя роль его банкира и продолжал ему ссужать суммы, которые он всегда забывал мне возвращать. Мне нравится его беззаботный цинизм; я верю в его привязанность ко мне, ибо знаю, что он неспособен на благодарность. Приписываемые мне пороки как бы извиняют ему его собственные, и уже более десяти раз записанный на черную доску в клубе, он ценит во мне двусмысленность моей репутации.

Но, весьма проницательный и юркий, Пьер постоянно относится ко мне с полным почтением. С видом денди, он постоянно притворяется игнорирующим все гнусности, которые распускают на мой счет, никогда не спрашивает, где я провожу время и что скрывают мои ночи; это испорченный малый, но очень тактичный. Это встречается редко, и я столько же признаю его достоинства, сколько и недостатки; таким образом, все то, что я об нем знаю, и все его поведение относительно меня, и все, что он мне говорил по поводу Эталя — все это заставляет меня думать, что Тейрамон явился ко мне по поводу Клавдия.

И, действительно, в течение двух часов он говорил со мною об Этале; и сквозь все недомолвки, и из разговора чрез пятое в десятое, я отлично понял, что он был встревожен моими отношениями с этим англичанином и что это беспокойство разделяют многие из моего круга, и что он был почти подослан моими родными и старинными приятелями. В Париже начали беспокоиться по поводу моей дружбы с этим англичанином и, хотя я не нахожусь в фаворе, мною начинают интересоваться, как всяким, кто подвергается опасности.

Однако Тейрамон не сообщил мне ничего определенно говорящего против Эталя, и его тысяча и один рассказ о его жизни в Лондоне и в Италии не представляли для меня решительно ничего нового. Я уже знал ряд его мистификаций с леди Клейвенор и другими дамами-аристократками. Пьер добавил несколько неприятных историй, раздутых вмешательством полиции, ускорившим отъезд Эталя гораздо более, чем его проигранный процесс. Как ни серьезны были эти истории, я не был ими несколько удивлен. Эталю не был бы тем художником, каким он есть, если бы не был эротоманом! Но что меня совершенно разозлило и заставило задуматься, это — вопросы Тейрамона относительно сигарет с опиумом и относительно коллекции ядов у Эталя.

Говорят, он привез целый арсенал ядов из своего путешествия в Индию: таинственные яды, названия которых даже неизвестны в Европе, — изумительные, ошеломляющие, наркотические и возбуждающие самым ужасным образом чувственность, приобретенные на вес золота или в обмен на баснословные ценности у факиров и магарадж; целые губительные сокровища смертоносных порошков и напитков, способы употребления и приготовления которых он чудесно изучил и применял эту чудодейственную алхимию в самых темных делах... Рассказывали о поработанной воле, о полном подчинении и абсолютном безволии, наступающем у мужчин, как и у женщин, после употребления известных духов или сигарет Эталя. Один из его друзей, бывший его товарищ по учению и художник,

такой же как он, баловень моды, превратился в идиота, посещая около двух лет мастерскую Эталья.

Приготовленные им сигаретки возбуждали к самым ужасным дебошам, и молодая герцогиня де Сирлей будто бы скончалась, вдыхая в течение шести месяцев аромат странных и пленительных цветов, свойство которых — сообщать коже жемчужный оттенок и окружать глаза восхитительной синевой.

Так же опасен эликсир красоты, предлагаемый Эталем позирующим у него, от которого маркиза де Бикоском тоже умерла бы, если бы, по приказанию доктора, не прекратила свои сеансы. Чудесные цветы, сообщающие бледность и синие круги вокруг глаз, говорят, заключали в своем аромате зародыши чахотки. Из любви к красоте, из-за страсти к нежным тонам и томным глазам, этот Клавдий Эталь будто бы не стеснялся отравлять свои модели!

Тейрамон спросил меня также, видал ли я у Эталья известный изумруд в перстне, зеленый кристалл которого заключал в себе такой могущественный яд, что одной капли на губы человека достаточно было для его моментальной смерти. Два или три раза при свидетелях Эталь производил над собаками опыты этой ужасной зеленой смерти.

Я ничего не подозревал о сигаретках из шпанских мух, трубках опиума, ядовитых цветах, ядах Восточной Азии и смертоносных перстнях. Эталь никогда не проговорился мне об этом ни одним словом. Рассказы Тейрамона вводили меня в какую-то страшную и мрачную легенду. Искуситель, развратитель мыслей, каким я его знал, теперь являл еще облик некоего Рене-флорентинца; отравитель был вне сомнений, — этот гном имел все зелья.

Я принял эти сплетни довольно индифферентно. Со своим легкомыслием клубмена, Тейрамон счел нужным предупредить меня, не придавая всему этому особого значения; он только что приехал из Трувиля и уезжал завтра в Остенде. Проездом через Париж он зашел ко мне забросить несколько слов и предупредить меня, чтобы я держался осторожно; и затем простился, даже не заняв сто-двести золотых, которыми он обыкновенно таксировал свои

посещения; и это последнее обстоятельство беспокоило меня гораздо более, чем все его разоблачения; его появление не являлось предлогом для займа: дело, вероятно, обстояло серьезно, если этот картежник побеспокоился даром.

*20 августа 1898 г.* — Я только что вышел от Клавдия.

Сегодня утром в первом часу синяя телеграммка возвестила мне его возвращение: «Лейденская диковинка досталась мне и у меня. Приходите посмотреть. Мы вернулись сегодня ночью». Лейденская диковинка! Эталъ осуществил свое желание: бесподобная вещь, музейная редкость, из-за которой он задержался на две недели в Голландии, наконец, поступила в его владение, и я был приглашен любоваться ею. И вот я увидел диковинку, но остался к ней холоден; а ведь с какими приготовлениями, с какой помпой Эталъ торжественно показал мне ее!

Одно за другим Эталъ разворачивал зеленые саржевые покрывала, которыми была закутана витрина. Можно было подумать, что он наслаждается, терзая мое любопытство, и, наконец, показалась кукла среди четырех стеклянных панно, соединенных между собою кожаными багетами с мелкими украшениями; да, — это была кукла или, вернее, манекен, — восковой манекен, изображающий девочку лет тринадцати в натуральную величину, одетую в пышные одежды, покрытые вышивками, шелковыми арабесками и жемчужинами, весьма похожий на восковую фигуру Валуа, выставленную три месяца тому назад на улице Сез, в галерее Жоржа Пти.

Стоя в своей стеклянной будке, эта кукла имела вид маленькой амбуазской принцессы, заключенной в стеклянную клетку. Эталъ привез из Лейдена Инфанту, Инфанту со светлыми серебристыми шелковистыми волосами, застывшее тело которой было затянута в малиновый бархат, сверкающий блестками; Инфанту, точно сошедшую с картины Веласкеса, с видом набальзамированного трупа, которым отличаются все восковые фигуры.

Взгляд Эталя, странно оживленный, с любовью покоился на поблекшем румянце и синеватой прозрачности этого искусственного тела. Меня же пугает и гнетет эта пожелтевшая бледность, эти иссохшие губы, эти багровые круги вокруг стеклянных глаз; меня устрашают эти высохшие, словно истаявшие, маленькие руки; от этой куклы идет запах смерти и склепа. Только пышность одежды интересует меня. Цвет ее превратился в цвет кожи и трута, выцветший и позлащенный от действия веков; шелковые вышивки еще сохранились на рыжем бархате, — вышивки шелком и жемчугом, на которых мой взгляд задерживается не столько из-за их пышности, сколько из-за желания избежать ужасного, неподвижного взгляда манекена.

Эталь и я — мы молчим; я чувствую, что он наблюдает за мной и что мое равнодушие его разочаровывает. Он ожидал восторгов, — потока восхищенных слов, и моя холодность беспокоит, озадачивает его.

«Вы еще не доросли до этого искусства, — заключает он, — покрывая витрину зеленой саржей. — Я думал, что вы оцените изящество этого изображения и бесчисленные оттенки разложения этого тела... Ведь эта кукла — портрет, нет, — статуя, раскрашенная статуя, изысканное и точное изображение, которое гораздо совершеннее, чем полотно или мрамор, воплотило в себе восхитительную и трагическую душу веков... Я обожаю эти восковые изображения. Я нахожу их гораздо совершеннее портретов. — А вам, быть может, больше понравится это?»

Внезапно он открыл маленькие дверцы и толкнул меня в темную каморку, смежную с его мастерской. Эта каморка, очень высокая и узкая, похожая на внутренность колодца, скорее представляла из себя большой шкаф, чем комнату; в ней находились библиотечные полки, но слишком просторные для книг; и в их тени виднелись стеклянные глаза и поблекшие губы более чем двадцати бюстов покойников, — двадцать восковых лиц в исторических и стильных прическах, с фольговыми украшениями на поблекших волосах; и среди этих бюстов — женщин и юношей — я узнал знакомые мне по музеям: женскую голову из музея в

Лилле, олицетворенную покорность, и «неизвестную женщину» с ее таинственной и тонкой улыбкой; исторические изображения Маргариты де Валуа, Агнессы Сорель, Марии Стюарт, Елизаветы де Водемон: поистине, целый будуар покойниц представляло это мрачное собрание слепков с отошедших.

Эталь взял один из этих бюстов и подал мне его, повернув к свету, чтобы я мог его рассмотреть.

Это была голова юноши с резким профилем и выражением поразительной энергии в упрямом лбе и выгнутых дугах бровей над впалыми глазами: скорбное и страдающее лицо трагического ребенка, немое и гордое страдание — лицо, прекрасное молчаливостью сжатых и припухлых губ; и зеленоватая бледность этого исхудалого и все-таки значительного лица подчеркивала еще больше скорбное выражение рта. Внизу находился герб с тремя жемчужинами: три пилюли Медичи.

## ГЛАЗ ЭБОЛИ

«Не правда ли, это почти Лоренцо Медичи? Несколько в другом роде, — с упрямым выражением рта и холодным пристальным взглядом! Какая энергия и какая горечь в выражении выдающихся челюстей, ведущих к узкому подбородку, и как чувствуется в этом ребяческом лице, что, среди флорентийских интриг и мятежей, ему пришлось видеть и трагическое! Поистине, у него взгляд, полный ненависти и ужаса — взгляд человека, присутствовавшего при изнасиловании своей матери, — рассказывал Эталь, любезно прикасаясь к бюсту, — и однако, это мое создание... Разумеется... я не нашел его ни в маленьком городке Умбрии, ни в тосканской деревне. Я знал этот гневный взгляд и этот упрямый и болезненный лоб. Мне позировал для этой работы молодой итальянец, несчастный чахоточный натурщик, которого я встретил однажды, скитаясь по бульвару, когда моя мастерская находилась еще на площади Пигаль.

Около пятнадцати лет тому назад молоденький неаполитанец явился сюда умирать вдали от солнца, под холодным и мрачным парижским небом. Как он кашлял, бедняга! Весь дрожа от озноба, в плисовых лохмотьях своего трастевинского костюма, он слонялся вокруг мастерских художников, не смея постучаться ни к одному из них из боязни быть побитым. И уже два дня блуждал он в тумане ноябрьского дня, борясь между стыдом предложить себя в мастерскую и страхом своих... Его нигде не хотели принимать — находили слишком тощим. Едва он успевал спустить сорочку, как ему указывали на дверь с грубыми насмешками, и когда я подобрал его, он уже два дня ничего не ел. Много таких помирают в Париже с голоду.

Меня заинтересовала его худоба, а затем — это выражение страстной неги, которым расцветается лицо каждого чахоточного — выражение, которое так много дает худож-

нику. Словом, я подобрал Анжелотто, расспросил его и увез к себе...

Бедный малый, — я должен был отходить его, и не тотчас потребовать платы за мое гостеприимство; но я чувствовал, что он еле держится и готов ускользнуть от меня в самом скором времени; и на другой же день я заставил его позировать... Что делать, — не каждый день находишь такую драгоценную модель; я знаю, что поступил гнусно, но мне слишком понравилось мрачное выражение его огромных страдающих глаз. Анжелотто позировал по целым часам, покорно, всегда с тем же выражением мрачного ужаса в глазах, которое иногда я принимал за упрек, и с этим горделивым выражением сомкнутых губ! Я работал с какой-то дикой радостью, с каким-то сладострастием, никогда не испытанным, ибо чувствовал, что с каждым ударом резца я воссоздаю целую жизнь, полную нищеты и страданий — символ этой жизни, этой возмущенной и гордой души, от вспышек гнева которой моим пальцам магнетически сообщался лихорадочный трепет... Он кашлял все сильнее и сильнее, несмотря на лекарства, вдыхания дегтя и жаркую постель, поставленную близ печки; я позвал доктора, — я знал, что он умирает. В промежутках между сеансами я ухаживал за ним изо всех сил; он никогда меня не благодарил, безмолвно подчинялся всем моим распоряжениям и умер на моих руках, двадцать дней спустя после поступления ко мне. Он умер в декабрьское утро, на первый день Рождества, помню как сейчас, на своей постели с неаполитанской грелкой, которую я случайно разыскал у старьевщика на улице Аббатисс и купил для него, — бедняга Анжелотто! Еще накануне он позировал мне, — с полудня до четырех часов; и мне не приходило в голову, что конец наступит так быстро.

Потом явились хлопоты из-за формальностей и родных, которых мне нужно было разыскать и уведомить; надо было объявить о похоронах; но с этими итальянцами... Это мне стоило три тысячи деньгами, кроме места на кладбище Монмартра. Когда я бываю в Париже, я всегда ношу ему цветы в праздник Всех Святых; но сознайтесь, что я обла-

даю шедевром».

Эталь произнес этот монолог в странном возбуждении, словно опьяненный собственными словами. Но уже в течение нескольких минут я не слушал его более... Пораженный, я смотрел на его огромную руку с волосатыми пальцами, которой он, словно когтями, сжимал пышную шевелюру бюста; поистине, это были когти, когти хищника, жестокий и зверский характер которых еще подчеркивали три странных кольца, одно на большом, другое на среднем, третье на безымянном пальцах, — три огромных жемчужины неправильной формы, похожих на перламутровые пустулы, которые на костлявых и сухощавых пальцах художника еще увеличивали сходство с когтями.

Эти когти вампира — странной игрой воображения представились мне душащими несчастного умирающего натурщика-итальянца. И, конечно, эти пальцы, выражающие такую сильную волю и такое жестокое сладострастие, ускорили смерть этого бедняка.

О, этот Эталь! Он улыбался, словно в экстазе, а я чувствовал, что трепещу от ненависти за все то зло, которое он уже сделал и еще сделает этой ужасной рукой. Рассказы Тейрамона пришли мне также на память. Какую зловещую отраву могли заключать в себе эти ужасные тусклые жемчужины, — словно нездоровые одутловатости, выросшие на его пальцах!

Дерзкий вопрос вдруг сорвался у меня с уст; я спросил, указывая на кольца: «Что — они отравлены?» Эталь поставил бюст на подставку и, прикасаясь к странным камням, протянул с легкой усмешкой: «Ох! вам насплетничали! — нет, эти не отравлены. Но если вас это интересует... или тревожит, я могу вам показать очень любопытный перстень. Хотите? На сегодня достаточно скульптуры — не правда ли?»

Быстро усадил он меня на кушетку в его обширной мастерской, быстро исчез и вновь появился из маленькой двери, о существовании которой в стене я и не подозревал, и, стоя возле меня, Эталь уже протягивал мне, осторожно держа между большим и указательным пальцами, кольцо стран-

ного вида.

«Вот, посмотрите».

Это был четырехугольный изумруд — изумруд-кабошон, походивший своей мутно-зеленой окраской на хризопраз, в котором, кажется, трепещет сок трав. Его охватывали два стальных грифа, оправленных в золото, довольно грубой работы: два когтя коршуна, сжимавшие зеленоватый кристалл камня и затем смыкавшиеся волнообразно.

Я чувствовал пристальный взгляд Эталя, вонзившийся в меня.

«Вы не узнаете этого кольца? Как же, ведь вы же были в Испании... В Эскуриале, в частных апартаментах Филиппа II, в сокровищнице, ошибочно называемой ларчиком Карла Пятого... вы разве не видели этого зеленого перстня? Этой словно ядовитой слезы, схваченной когтями невидимого хищника? А между тем, у этого кольца довольно красивая легенда: *e si non e vera, bene trovata*; глаз Эболи — трагическое приключение этой милой принцессы. Ах! этот милейший Филипп II был довольно непокладистым господином и у этого ревностного сожигателя еретиков была также ревность тигра и еще дикие замашки. Бедняжка Сара Перез не всегда была верна своему царственному любовнику: и что за фантазия для доброго католика влюбиться в еврейку: это уже была отместка Бога Израиля. Еврейка — наложница короля Испании, еврейка — возлюбленная Габсбурга! Вы в самом деле не знаете этой истории? Это, должно быть, легенда, — но она так хорошо вяжется с мрачным величием Эскуриала и великолепно отражает темную душу отца дона Карлоса.

Вот как рассказывают ее там шепотом, и вот она вам в назидание — нам на радость. У этой Сары Перез были самые восхитительные глаза в мире, глаза зеленоватого кристалла с золотыми блестками, которые вы так любите, — глаза Антиноя. В Риме эти глаза сделали бы ее наложницей Адриана. В Мадриде они снискали ей титул принцессы Эболи, — обнаженной разделяла она ложе короля; но Филипп II слишком ревновал эти огромные изумрудные глаза и их безмятежную прозрачность; а принцесса, тосковав-

шая в мрачном дворце и еще в более мрачном обществе короля, имела несчастье однажды при выходе из церкви остановить взгляд своих изумительных глаз на маркизе По-за. Это было на пороге капеллы и принцесса думала, что она наедине со своей камеристкой; но бдительность соглядатаев выдала ее Филиппу и вечером, в интимности алькова, после бурного объяснения и бешеных ласк, Габсбург, разъяренный бешенством самца, набросился на свою возлюбленную, зубами вырвал ей глаз и проглотил его.

И вот окривевшая принцесса, — прекрасное название для жестокой сказки. Вилье де Лиль-Адан воспользовался этим сюжетом. Эболи осталась кривой, у возлюбленной короля отныне появилось зияющее отверстие посреди лица. Филипп II, любивший еврейку до безумия, тем не менее продолжал держать при себе одноглазую принцессу. Он наградил ее несколькими титулами и аренами; а в знак сожаления о прекрасном зеленом глазе, который он погубил, он велел врезать в пустую и сочащуюся кровью орбиту великолепный изумруд в серебряной оправе, которому хирурги постарались придать подобие взгляда. С тех пор окулисты сделали большие успехи; но принцесса Эболи, уже потрясенная потерей своего глаза, умерла вскоре от последствий операции, и с этим глазом ее положили в гроб.

Все было варварским при этом Филиппе II — и манера любить, и манера оперировать.

Филипп II, безутешный любовник, приказал вынуть изумруд из глаза покойницы и вставить в кольцо; он постоянно носил его на пальце, не расставаясь с ним даже во сне, и, когда он в свою очередь скончался, говорят, — эта зеленая слеза была у него на безымянном пальце правой руки.

Кольцо, которое вы держите, мой милый, совершенно схоже с тем кольцом. Я приказал сделать его по образцу кольца короля; это работа испанского мастера, ибо подлинное кольцо сохраняется в Эскуриале. Мне доставило бы удовольствие украсть его, ибо в музеях я одержим воровскими склонностями; предметы, имеющие историческое прошлое, в особенности прошлое трагическое, меня всегда

странным образом пленяли. Недаром я — англичанин; но то что легко проделать во Франции, невозможно осуществить в Испании: их музеи имеют настоящих сторожей.

Итак, я должен был удовольствоваться, заказав себе подобное кольцо у мадридского ювелира; они — мастера в этой работе. Эти когти любопытно вырезаны; но самое замечательное — это камень, не из-за своего веса и прозрачности, но обратите внимание на его вместимость! Видите ли вы эту каплю зеленого масла, трепещущую и переливающуюся внутри его; это капля яда, — страшного индийского яда такого моментального и смертельного действия, что стоит только коснуться до него кончиком языка, чтобы умереть на месте.

Это — мгновенная смерть, верное и немучительное самоубийство, заключенное в этом изумруде. Стоит прикоснуться зубом, — и Эталь сделал движение, как бы поднося кольцо к губам — и вы покидаете этот низменный мир низменных инстинктов и низменных созданий, чтобы одним скачком перешагнуть в вечность.

Вот он, верный друг, *Deus ex machina* — презирающий общественное мнение и полицию... Да, да мы живем в трудные времена, а нынешние судьи очень любопытны. Приветствуйте, подобно мне, милый друг, этот яд, служащий нам спасителем и освободителем.

К вашим услугам — если когда-нибудь вам случится в этом надобность!»

## ЧИТАЮЩИЙ В ДУШАХ

Вот он, верный друг, *Deus ex machina* — презирающий общественное мнение и полицию... Да, да мы живем в трудные времена, а нынешние судьи очень любопытны. Приветствуйте, подобно мне, милый друг, этот яд, служащий нам спасителем и освободителем.

*Сентябрь 1898 г.* — «К вашим услугам, если когда-нибудь вам случится в этом надобность!» Каким тоном произнес это Эталь!... Поистине, можно было подумать... Кровь бросилась мне в голову, я готов был схватить его за горло.

За кого он меня принимает? Уж не причисляет ли он меня ненароком к садистам и растлителям детей, каковы почти все его компатриоты, эти ханжи-англичане с лицами, побагровевшими от джина, эти мясные туши, которые по вечерам удовлетворяют свои перевозбужденные чувства, в конторах для найма прислуги, маленькими ирландочками с глазами-васильками, несчастными подростками, которых нищета Дублина предает каждый месяц Минотавру Лондона!

О! эта холодная и жестокая чувственность англичан, грубость этой расы и кровожадность, их деспотические инстинкты и наглость пред слабостью, как все это горело в глазах Эталья, когда он рассказывал медлительно, с кошачьим злорадством, о рассчитанной агонии его юной модели!

Анжелотто, чахоточный итальянчик с площади Мобер!

Я чувствовал, как подымалась во мне глухая ненависть. С каким цинизмом обнажал он предо мною гной своих моральных язв и в то же время от него исходило какое-то ужасное очарование.

Чем больше я рассматривал эту скорбную голову, чем больше любовался трагическим и презрительным выражением лица, тем больше я сожалел, что не знал этого нес-

частного ребенка; быть может, мне удалось бы освободить его из убийственного плена художника и мое отвращение к Эталю еще усугублялось каким-то странным сожалением. Я менее досадовал на это чудовище за то, что он его погубил, чем за то, что он его знал.

Это была точно ревность!... Ревность! Какую бездну низменных инстинктов разбудил во мне этот англичанин?

*15 сентября.* — Я не хочу больше видеть этого человека. Мне хочется поехать в Венецию, в Венецию, с успокаивающей тишиной ее лагун, очарованием смерти и грандиозного прошлого ее дворцов и вод. О! скользкий бег гондол по тяжелой, свинцовой поверхности каналов, крик — эй! гребец! — нарушающий тишину пустынных улиц и по утрам, при первых лучах зари, долгие часы мечтательного и восхищенного созерцания до пробуждения города, у окон палаццо Дарио, когда я один — пред пустынным Большим каналом и куполами церкви Спасения, кажущимися атласными на фоне жемчужной Венеции.

Да, Венеция меня исцелит, я избавлюсь от тиранического гнета Эталя; я снова восстановлю мою прежнюю душу, душу красивую и богатую, созерцая картины Тьеполо и Тинторетто; снова я найду, быть может, утраченную чистоту, любясь божественными созданиями Карпаччо; и если уж пошло на безумие, не лучше ли увлечься Святым Георгием или Святой Урсулой — из музея Академии, — чем блудливо грезить пред пагубным восковым созданием этого отвратительного Эталя?

Да, нужно уехать. К тому же Орбен рекомендует Венецию неврастеникам... климат в ней отличается какой-то нежащей мягкостью и в тишине этого водного города словно разлит какой-то усыпляющий бальзам: Венеция спасет меня от Эталя, а потом там я снова воскресну для прежней жизни. Венеция,— какие воспоминания!

*20 сентября.* — Венеция! Мне казалось однажды, что там я встретил скорбный, преследующий меня взгляд, этот изумрудный, волнующий меня взгляд, который превратил

меня в несчастного, потерявшего равновесие безумца.

Я вспоминаю. Это было в больнице, в отделе венерических больных, среди тяжелой атмосферы большой залы с известковыми стенами и окнами, накаленными прекрасным полуденным солнцем. Она лежала, покрытая сомнительно-белыми больничными покрывалами, и ее рыже-красные волосы, разметанные на подушках, еще подчеркивали желто-землистый цвет лица сифилитички. Она лежала недвижимая, молчаливая, среди шума, едва стихшего при нашем появлении, двадцати других женщин, — двадцати выздоравливающих, или несерьезно больных, столпившихся в рубашках вокруг стола, загроможденного стаканчиками, кубиками и картами; все здоровое население залы предавалось оживленной игре в лото. Лишь одна больная, бледная как воск, не шевелилась, не произносила ни слова. Но между ее полусомкнутых ресниц сверкал кристалл зеленоватой и позлащенной воды, печально дремлющей и опаленной светом, как ложе темного источника в полуденный час; и в то же время такая скорбная улыбка сводила бледные поблекшие губы и углы изможденных век, что на мгновение мне блеснул взгляд бесконечной утомленности и безумного экстаза глаз Антиноя и старинной постели.

Я склонился с любопытством над постелью: лицо утомленно вытянулось, глаза закрылись. «Одна из мучающих ее спазм, — пояснил нам сопровождавший нас медик, — у нее язва яичников: она обречена».

Скорбный изумруд блеснул только на мгновение — только на мгновение выглянул взгляд Астарты из-за края век, на мгновение моя душа приблизилась к моим устам; в бескровном лице умирающей была, я помню, та же зеленоватая прозрачность, что и в восковом бюсте Анжелотто. Странное совпадение, — два взгляда умирающих, ибо и он и она были уже поражены, обречены на смерть!

Эти зеленые и страстные глаза, я видел их еще однажды...

Это было в Константине, в той улице Лестниц, кишашей проститутками, которая спускается прямо к реке Румель.

Переходя из одной мавританской кофейни в другую, из испанского кабачка в мальтийский погребок, — мы как-то попали в этот странный притон курильщиков опиума... Резкий, монотонный напев флейт прорезал воздух и посреди кружка арабов на корточках, плясали, странно переплетаясь ногами, два бескровных существа с потухшими глазами, гибкие, как ужи.

О! отчаянные, почти судорожные призывы этих высохших рук над этими застывшими лицами! Подрисованные глаза, намалеванные щеки, — они извивались, неподражаемо гибкие среди волн газа и тюля, вышитых золотом, — одетые, как женщины, содрогаясь от времени до времени всем своим телом, словно от электрического тока. Вдруг один из танцующих замер на месте в оцепенении с пронзительным диким криком и в его закатившихся глазах я увидел тот же зеленый блеск... Я бросился к нему и схватил его за руку: он был без чувств, пена выступила на губах. Это был эпилептик — и что того хуже — несчастный слепец, кабийский танцовщик, истощенный пороками и чашоткой, осужденный в скором времени на смерть.

Венецианка в Госпитале была также приговорена к смерти... Уж не влюбляюсь ли я только в умирающих? Какое-то непреодолимое и ужасное обаяние влечет меня ко всему, что страдает и что умирает! Никогда еще я не читал так ясно в самом себе. Этот неизгладимый порок моей больной души был разгадан Эталем в тот вечер, когда он показал мне сначала куклу, а затем этот восковой бюст, в котором я нашел воплощенными ту скорбь и те страдания, которые меня привлекают больше всего.

Маленький кабийский танцовщик, умирающая венецианка, чахоточный натурщик с Монмартра — все они одной породы, и этот англичанин читает в моей душе, как в открытой книге, обо всех ее злосчастных склонностях. Как я его ненавижу.

*28 сентября.* — Я уже не уезжаю; я увидел Эталя, и этот человек снова забрал меня под свою власть. Я кончал запаковывать мои сундуки и, стоя у стола, заворачивал

трости и зонтики в дорожную укладку, когда на мое плечо опустилась чья-то рука и насмешливые губы пробормотали:

Кого люблю, того хочу забыть!  
Вези меня отсюда в край далекий,  
В Норвегию, в Богемию, — там, может быть,  
Расстанусь я с заботою жестокой.  
Но, забыв его, чем стану жить,  
Что сохраню для жизни одинокой?

Это был он, — он догадался, что я уезжаю: каким образом? Можно подумать, что у этого человека двойное зрение: «Вы его не найдете, — сказал он, легким жестом указывая на свои блестящие глаза, — этот взгляд внутри вас и у других вы его не найдете. — Поезжайте в Сицилию, в Венецию, даже в Смирну, — ах, вы больны и повсюду ваша болезнь последует за вами. Вы ищете взгляд музейный, мой друг; и гнилая цивилизация большого города, подобного Парижу или Лондону, только она одна может вам его предложить. Почему хотите вы сбежать в разгар лечения? Разве вы можете на меня в чем-нибудь пожаловаться? Вас уже не преследуют больше маски, и если учащаются припадки желанья убить, вы уже не падаете в обморок по ночам, хрипя и ловя призраки. Я спас вас от видений, возвратив вас к инстинкту, ибо это прекрасный и могучий природный инстинкт — инстинкт убийства — такой же, как и священный инстинкт любви.

Нищета и проституция — только одно может вам доставить наивное существо, жертву условий, со взглядом, который вас привлекает.

Вы ищете взгляда мучеников, — божественный экстаз ужаса и мольбы, смятенное сладострастие взгляда Святой Агнессы, Святой Катарины Сиенской и Святого Себастьяна. Мы найдем этот взгляд, я вам ручаюсь, — но не убегайте от меня!

Не уезжайте, это бесполезно, я обещал вам исцеление; клянусь могилой моего бедного Анжелотто, я сдержу слово!»

## ЧУДОВИЩА

8 октября 1898 г. — «Оставьте для меня завтрашний вечер и приходите попробовать новый зеленый чай, который я только что получил прямо из Китая. Я хочу вам показать несколько чудиков, космополитов, — между прочим, двух моих компатриотов, которых я совершенно случайно встретил вчера за чаем на авеню Марбеф. Я обещал им вас показать, — надеюсь, что и ваше любопытство не будет обмануто.

Мод Уайт (вы знаете эту актрису?) очень своеобразно читает стихи Бодлера, — без всяких интонаций! Но вас, вероятно, больше заинтересует ее брат. Они оба будут у меня завтра и еще кое-кто.

Приходите — после полуночи, мы устроим курение опиума. Это не входит в курс вашего лечения — сейчас я произвожу над вами медицинские опыты. Я вас исцелю: в этом будьте уверены.

Итак, до завтра, — будьте к десяти часам.

Ваш соумышленник  
Клавдий Эталь».

Итак, Эталь принимает! Но что означает это нашествие его сородичей, которым он обещал меня показать, и кого он хочет завтра мистифицировать, — этих англичан или меня, меня или этих англичан? Мне совсем не нравится это приглашение, и к тому же я остерегаюсь чая и азиатских зелий Эталя. Разве я любопытный зверь, чтобы созывать Любенов и Куков на празднество курильщиков, где будет фигурировать герцог де Френез?..

Я видел портреты этой Мод Уайт — довольно интересные; «Студио» несколько раз воспроизводил ее в костюмах шекспировских ролей, и я помню ее в образе довольно таинственной Корделии; но талант ее — второстепенный. Я никогда не видел ее в Лондоне.

Я даже не буду отвечать Эталю, и эти англичане меня не увидят.

*10 октября.* — Станный и двусмысленный вечер, необычайное впечатление полусна, галлюцинаций наяву и обрывков кошмара оставили во мне эти существа с жестами автоматов и чересчур блестящими глазами, похожие более на призраков, чем на живых людей своим сомнамбулическим бредом и изысканностью намеренной элегантности..

Если бы я не касался их рук и их одежд, я бы думал, что я еще во сне... И все-таки я не жалею, что присутствовал на этом вечере.

Начать с того, что в мастерской Эталя, убранной в этот вечер изумительными коврами, задрапировавшими стены, — коврами, подвешенными на кольцах на медные пруты, устроена была парадная выставка всех его восковых бюстов. Они были вынуты из чуланчика, где хранились обычно, и размещены на подставках, и все эти лики окаменелого страдания или сладострастия причудливо смешивались с фигурами гобеленов — доезжачими в отороченных куртках, долговязыми неподвижными баронами в кольчугах и дамами в тяжелых платьях.

Целая толпа некогда живших, казалось, шествовала вдоль стен, а кое-где среди мрака выплывали, словно призраки, восковые головы, суровые лица с пустыми глазами и искусственной улыбкой. Двенадцать восковых свечей в огромных церковных подсвечниках горели по три в каждом углу; и от их дымного света мастерская Эталя казалась еще больше — стены тонули во мраке.

Поистине странная обстановка, но еще более странное общество эта Мод Уайт и ее брат: она, полная, белая, гибкая, вылезаящая своим молочно-белым телом из черного бархата платья, с бесстыдно обнаженной грудью и плечами; он, затянутый во фрак с муаровыми отворотами и жилет черного броше, оба совершенные блондины — серебристые блондины, похожие на испанских инфантов Веласкеса, — оба до того похожие друг на друга, что это сходство лишило ее — ее женского, а его — его мужского характера.

Затем была еще герцогиня Альторнейшир; плечи ее блистали пудрой, а жирные руки белилами, скулы — румянами, с ушей свешивался на шею целый фейерверк бриллиантов на полмиллиона; герцогиня, вся, от корней своих крашенных волос до кончика ног, в лиловом — и платье, и кожа, — тело, уже тридцать лет подвергавшееся действию различных бальзамов, притираний и косметик; герцогиня Альторнейшир с ее знаменитым ошейником из жемчуга, подпирającym отвратительное лицо; герцогиня Альторнейшир, бывшая танцовщица, вышедшая за герцога, а теперь овдовевшая и разматывавшая миллионы покойного лорда Бурдетта по всему свету, кочуя из Флоренции на Ривьеру и с Корфу на Азорские острова со своими замашками бывшей шантанной этуали, ибо она не дошла даже до оперы. Затем присутствовал еще герр Шапшман, высокий и тощий немец с лошадиной головой и прыгающей походкой, каждое движение которого сопровождалось звяканьем опаловых четок, которые он носил на правом запястье.

Герр Фредерик Шапшман в своем огромном галстукешарфе белого шелка и долгополом черном сюртуке имел вид двуутробки в бриллиантах — так он ими блистал. Затем явились еще несколько лондонских снобов с орхидеями в бутоньерках, бритыми физиономиями и безукоризненными проборами в жирных, редких волосах; затем еще мрачная личность в белом тюрбане, очень корректный индус в смокинге, с перстнями цейлонских сапфиров и жемчугов на каждом пальце, приведенный не то герцогиней, не то немцем.

«Вы не боялись полиции? Н-да! Вот бы славная добычка попалась ей сегодня вечером, если бы она отважилась заглянуть ко мне. Был момент, когда мне хотелось ее предупредить!» С этими словами меня встретил Эталь — затем последовали представления.

Мод Уайт, задрапированная в свой бархат, словно статуя в тунике, удостоила меня почти нежным взглядом своих огромных зеленых глаз, ибо у этой англичанки наипрекраснейшие в мире глаза, — глаза цвета древесной зелени, к сожалению, испорченные несколько косым разрезом; брат

ее, сэр Реджинальд Уайт, соизволил склонить свой стройный стан и выразил радость по поводу знакомства с коллежником.

«Голова несколько грузна, — прошептал мне Эталъ, — но у нее дивная кожа и... тело!.. Но с нею ничего не поделаешь. Мод — целомудренна и относится с отвращением к прикосновению мужчин: это свойство ее или недостаток?.. На самом деле она загадочна, как “Зогар”... Да, братец и сестрица славная пара. Об этом говорят, но мне бы не хотелось, чтобы это была неправда. В их собственных интересах было бы невыгодно это опровергнуть. Здесь она прославилась именно этим своим свойством и чтением Суинберна, а в Лондоне — Бодлера. Она пропагандирует новых поэтов; сегодня она прочтет нам из Бодлера. И, отведя меня в глубину мастерской, сказал:

«Я не представляю вас герцогине; во-первых, вы не ее тип, а затем, она сегодня занята только индусом герра Шаппмана; она, наверное, его отобьет». — «А зачем вы пригласили эту уродину?» — «Герцогиню! она заполняет салон и подчеркивает своим присутствием красоту других женщин. Что за великолепного идола она представляет во всеоружии своих драгоценностей и как она зловеще чернеет под своими румянами! Я не могу ее видеть, чтобы не вспомнить об еврейке Эсфири, которую Мардохей приказал шесть месяцев умащать миррой и корицей, прежде чем показать ее царю Ассуру. Вся натертая благовониями, она, должно быть, имела этот оттенок кожи; но Эсфирь была молода, между тем как сорокалетнее распутство сказалось на этой. Как чувствуется разложение под эмалью этих косметик и в бороздах этих морщин! Мне нравится ее вид зачумленной, разряженной в шелка, подобно тем девам, которых видишь в церквях Испании. Как бы она была хороша, изображая мадонну ужаса в процессии кающихся — Гойи. Это Владычица Семи Грехов — как ее назвал однажды Форен — сознайтесь, что это прозвище очень метко.

Я не представляю вас ни Шаппману, ни индусу этого Шаппмана: милейший Фред интересен только, когда он описывает свои путешествия в Японию, — экскурсия, которую

он предпринимает на Ниппон каждую весну, покидая Александрию. Он говорит, что едет туда смотреть, как цветут сливы. В сущности, у него душа модистки. Ему бы называться Шарлоттой и намазывать маслом тартинки племянникам Вильгельма Мейстера.

Бьюсь об заклад, что он повествует этим господам о своем восхищении сливовыми деревьями или о своей последней покупке опаловых четок, которые он намотал себе на руку. Он их коллекционирует. Память о Востоке — это четки из Мекки, их можно найти повсюду в Алжире.

Что касается моих компатриотов, это не Бог знает какие Джон Були, но более не наслаждающиеся, как и ваш покорный слуга, пребыванием в Лондоне... Все что-нибудь коллекционируют: этот — сабельные ножны; другой — пряжки поясов королевы Анны; третий — башмаки Римского короля или тапки прекрасного принца Мюрата; надо же чем-нибудь заниматься или, если не заниматься, занимать мир своей маленькой особой. К тому же они ни слова не понимают по-французски и говорят только на арго, как и пододбает иностранцам с изысканными извращениями.

Я представлю вас сейчас одному человеку; он, хотя и англичанин, но заслуживает того и должен вас заинтересовать. Мы ожидаем также несколько русских... Но, извините меня, я пойду просить мисс Уайт нам что-нибудь прочесть».

Мод Уайт флиртовала в это время со своим братом, с царственным бесстыдством глядя ему в глаза и почти соприкасаясь губами с его губами; она лениво поднялась при приближении Эталя; грудь ее почти совсем выскочила из корсажа и, по-кошачьи изгибаясь всем своим телом, она выслушала его просьбу с опущенными глазами, так предлагая всю себя, что заставила загореться сонный взгляд индуса — и от него вывороченные глаза старухи Альторнейшир.

«Нет, не из Бодлера, мне он осточертел, — пищала мисс Уайт, говорившая также на арго, — не правда ли, Реджинальд?» Реджинальд вмешался, поддержал сестру, предложил вместе с нею стихи Альберта Самена: *«В саду инфан-*

*ты*» — из этой книги, насыщенной бурями и сладострастием, — гнетущим и нездоровым очарованием.

Вечер страстный и веселый, как осенняя охота,  
В душу мне наваял скуку сказок старых Геродота.

— Довольно, не правда ли? Я тоже нахожу в каждой мысли привкус измены. Это чувствуют, кажется, все, — все мы?  
— И она кокетливо протянула слова. — Я скажу вам *Сладострастие*, — знаете, эти бесконечные перечисления:

Сладострастие хвалите, — мертвый плод на древе жизни!  
Сладострастие, — пыланье, раскаленность наших чувств,  
Ты владеешь темной тайной, тайной вечной и глубокой!  
Я тебе слагаю гимны, идол черный и жестокий.

И прибавила, кокетливо показывая язычок из-за перламутра зубов:

— Это будет очень уместно и как раз подходяще к вам, — эта ода Сладострастия, не правда ли, Эталь?

## ЛЯРВЫ

Козел идет во мгле, и шерсть его черна,  
И вечер наг и ал! Последнее смущенье  
В болотной одуре впадет в оцепененье,  
И, радость гнусных ведьм, нисходит тишина.  
Пустынная страна самумом сожжена.  
Развитых кос твоих угарное томленье,  
Обвивши нам тела, в них будит вожделенье,  
Но ненависть родить любовь моя должна.  
Друг в друга мы впились бесстыдными глазами,  
Еще несытая, страсть овладела нами,  
Сердца нам иссушив, в алмазы их сожгла.  
Измождены тела пыланьем злого зверя.  
А души в небесах, молясь и робко веря,  
Склонились, словно мы — лишь мертвые тела.

Монотонно, чуть-чуть понижая голос почти до рыдания в конце каждой строфы, Мод Уайт прочла третий сонет. Это была мелолея литургической прозы; и, сама олицетворяя молитвенное настроение, неподвижная на фоне гобеленовых персонажей и трепещущих отблесков, актриса казалась воплощением ритуала забытой религии, которую она словно воскрешала в движениях и изгибах своих чресел.

Козел идет во мгле, и шерсть его черна.

«Воззвание к духам, — воззвание к лярвам», — усмехался сзади меня Эталъ. И в самом деле: пока Мод Уайт, показывая золотистые пятна подмышек и роняя длинные кисти своих бледных рук, словно обрывая невидимые цветы, священнодействовала, мастерская художника наполнилась новыми посетителями, молчаливыми, неслышно вошедшими и выстроившимися вдоль стен, — близ дам в средневековых прическах и рыцарей гобеленов. — Можно было подумать, что Мод вызвала их своими заклинаниями.

Теперь, в атмосфере грез, созданной ирландкой, когда Уайт смолкла и ее мертвое лицо было едва освещено перламутром улыбки и косым взглядом, я различил вновь пришедших... Здесь была, вся сверкавшая жемчугами и шелками, обрюзгшая маркиза Найдорф, урожденная Летиция Сабатини, со своими жирными плечами, еще красивая, несмотря на свои сорок лет, со своим профилем сицилийской медали под шлемом блестящих черных волос. Возле нее — княгиня Ольга Мирянинская с землистым лицом и опущенными веками; она сильно постарела, обрюзгла и утомленное лицо ее, — когда-то лицо вакханки, — теперь выражало одну животность; и, несмотря на принадлежность к разным нациям, обе начинали походить друг на друга. У обеих был тот же поблекший цвет лица и то же выражение изможденной тупости во взгляде и в улыбке, обе обрюзгли, отяжелели от морфия и на лицах у них лежало клеймо...

Русская и сицилийка прибыли почти одновременно. Княгиня Сейриман-Фрилез вошла, спустя несколько секунд, в сопровождении мужчины — графа де Мюзарета.

Эти двое тоже были похожи между собой — оба стройные и тонкие, с резко очерченными силуэтами, словно пара изящных левреток; но, при ближайшем рассмотрении, женщина казалась более мускулистой и черты ее профиля выражали твердую волю. О! настойчивость, выраженная в ее удлиненном подбородке и линиях лба, выступающего из-под бледного золота волос, твердый взгляд серо-стальных зрачков, упорство во всей ее фигуре, облеченной в узкий футляр жемчужного шелка!

Мужчина, с маленькой головкой хищной птицы, с волнистыми и густыми волосами, несмотря на все свое изящество, казался манерным, а элегантность его — деланной. Нежная, но очень потасканная кожа, множество мелких морщинок на висках и вокруг тонких губ, делали его похожим на портрет Порбюса: от прозрачности его сухощавых и растопыренных ушей выдавалась их вислоухость, а на тонкой и неподвижной шее бросалась в глаза морщинистая родинка — примета рода Валуа; в нем поражала породистость, в

этом графе де Мюзарете! Среди этих трех женщин, он имел вид музейного портрета, иллюстрирующего текст трех плохих книг, и как бы ни было деланно его высокомерие, чепуха века родовитой знати, без примесей и ослаблений, подчеркивали рядом с ним их княжеский космополитизм.

Теперь их группа окружила актрису. Ей говорили комплименты; женщины, — с жестким блеском в устремленных на нее взглядах, еле сдерживаясь от душившего их смеха, все три странно побледнели; а Мюзарет, весь изогнувшись, элегантно и развязно, выражал свой восторг, восхищение дилетанта, свободное от всякого желания...

«Посмотрите-ка на этих чертовок, — издевался Эталь. — Как они все трутся о молодость Мод Уайт, как раздевают ее взглядами! Посмотрите на острые взгляды Американки. Словно кинжалы, вонзаются они в декольте ирландки; уже давно красавица была бы раздета, если бы эти взгляды имели лезвия из стали. И как они вонзаются в обеих соперниц! О! молодое тело привлекает их; они явились только ради нее.

Что касается милого графа — это высшее равнодушие; он говорит комплименты актрисе, все эти великолепные восхваления, только для того, чтобы наградить Мод несколькими экземплярами своих стихотворений; завтра же он пошлет ей десять томов с посвящениями, и “Крылатые крысы” графа Эмери де Мюзарета обретут еще одну музу: надо же заботиться о славе. Заметьте, какая тонкая дипломатия разлита во всех чертах этого тонкого профиля; он выдрессирован, как кардинал. Он почуял в Мод Уайт хорошее орудие рекламы и явился только для того, чтобы пристегнуть ее к своей славе. Ведь он воспевает самого себя между строк комплиментов, которые говорит ей — флиртует сам с собой. Это настоящий Нарцисс чернильницы... Ну! вот этот сейчас расстроит его игру».

В это время вошел неслышными шагами необыкновенно красивый молодой человек. Изысканный, воздушный, с васильковыми глазами и белокурыми ресницами на прозрачно-белом лице, с такими нежно-розовыми щеками, что можно было подумать, что они нарумянены, с тонкими и шел-

ковистыми волосами, похожими на дикий овес. Изысканный и нежный, словно саксонский фарфор! Он направлялся к группе дам, в восторге окруживших Мод: маркиза Майндорф представила его. Граф де Мюзарет, слегка содрогнувшись весь при появлении нового гостя, едва посторонился, чтобы дать ему место; и продолжал осаждать актрису, афишируя свою невежливость по отношению к новому поклоннику.

«Забавна эта встреча! — зубоскалил Эгаль, — ведь это Мюзарет изобрел его два года тому назад, а теперь они уже не переносят друг друга. Оказалось, что у музыканта больше таланта, чем у поэта, и мелодии Делабара больше нравились, чем стихи, которым они аккомпанировали. Милый граф придумал пустить в ход композитора, чтобы обеспечить успех своим стихам, но он не предвидел, что музыка будет иметь больше успеха, чем его вирши. Он его отставил за неблагодарность: Нарцисс называет неблагодарностью — успех других, но мальчик оказался с головой, со смекалкой, даже интриганом. Ученик делает честь своему учителю, он сядет ему на голову; возьмет красотой и молодостью: невозможно быть красивее.

Посмотрите, мегеры уже впились в него взглядами. Он кружит головы, словно переодетая девочка, и сама Мод удостоила его томным взглядом своих зеленых глаз. Она уже не слушает милого графа: малыш побил рекорд. Он тоже приходит за тем, чтобы пристроить свою музыку — как граф стихи; оба рассчитывают на Мод, чтобы она прославляла их в Лондоне и в Париже. Этой зимой — Уайт будет ли говорить стихи одного или декламировать под музыку другого?.. Конфликт. Было бы забавно, если бы их интересы сошлись, и они помирились бы после разрыва. Кто знает! Быть может — они уйдут вместе, помирившие Мод Уайт. Если Мюзарет найдет это для себя выгодным, он заглушит в себе зависть; это — сильный человек». И, со сдержанным смехом, напоминающим куриное кудахтанье: «Этот малыш Делабар сводит их всех с ума. Вот уже герцогиня Альторнейшир идет поздравлять Мод и приблизиться к нему, а вот и герр Шашпман и весь английский клан.

Они хотят понюхать поближе этот розовый бутон. Смотрите — настоящие лярвы! свежая кровь привлекает их и манит. В древности только таким образом удавалось вызвать тени. Помните этих голубей, зарезанных Улиссом в жертву божествам Стикса; а вот и индус присоединился, — индус со своим тюрбаном, вышитым золотом; но посмотрите, княгини вдруг оставили свои места... Как же — скомпрометировать себя с герцогиней, — бывшей танцовщицей, женщиной, которая продавалась за деньги, какой позор! Мессалины — но не Таисы! Впрочем, Мессалины, — это слишком сильно сказано: вернее, жрицы доброй богини, — неправда ли? Ибо ни один мужчина не принимался на таинства Изиды».

Мод Уайт и ее брат теперь выслушивали комплименты господ во фраках, украшенных гардениями, и немца с опаловыми четками. Старая герцогиня, похожая на призрак с ее лакированным, как у куклы лицом, увлекла пианиста на диван; рухнувши всей массой своего дряблого тела, облеченного в лиловый шелк, она усадила его так близко к себе, что бриллианты стекали с ее груди, подобно сталактитам, и свешивались над лицом улыбающегося молодого человека; он слегка сопротивлялся, откидываясь назад; черные зрачки индуса сверкали позади них; во мраке, слегка прорезанном мерцанием свечей, казалось, шествовали призрачные рыцари в латах и разряженные дамы гобеленов.

«А Томас Веллком все не приходит, — ворчал Эталь, посматривая на часы. — Я и хотел вас познакомить главным образом с ним, — его бы стоило посмотреть... Остальные? — и он махнул рукой. — Княгиня Сейриман-Фрилез еще, пожалуй, самая интересная. Она — шельма со всеми своими проделками, этим браком и восьмьюдесятью тысячами франков, за которые она носит имя старого князя и прогуливает по всему свету свое распутство и свою независимость. Это настоящая пламенница! В развращенности же всех остальных столько снобизма и морфия!

Маркиза неудачно вышла замуж и дошла до настоящего положения вследствие подлости света и мерзостей своего мужа. Мирянинская — почти нуждается; ее содержат ба-

рышни; теперь в моде принимать ее в пять часов в будаурах. Одурманенные, истасканные, изнуренные, они уже не в состоянии испытывать те ощущения, которые единственно оправдывают ненормальность; по своему развитию они не выше оступелых клиенток монмартрских кабачков. Сейриман имеет свое обаяние. Посмотрите — какая настойчивость в ее гордом профиле, как тверд и задумчив взгляд ее серых глаз цвета тающего льда, какая в них выражена упорная и осмысленная энергия!

Посмотрите на нее! Посмотрите, как внимательно она изучает герцогиню Альторнейшир, хотя все в этой женщине должно ей внушать отвращение — и ее старость, и ее прошлое; но Алиетта Монто, пожирательница сердец и миллионов, тридцать лет тому назад была дивно хороша, и княгиня де Сейриман, вероятно, хочет найти и жалеет в этой развалине ныне исчезнувшее орудие страсти и желаний!

Наполеон так же, вероятно, рассматривал поле сражений, где другой одерживал победы. Кстати, вы знаете прозвище княгини?..» И он прошептал мне забавное словцо. — «На Лесбосе?» — «Конечно — на Лесбосе».

Лесбос, обитель знойных и страстных ночей.

«Веллком все не идет. Если же я попрошу Мод прочесть нам стихи — это нарушит оживление. Мне кажется, Бодлер здесь очень уместен. Пойдемте со мною, Френез, — попросим ее прочесть нам: *Осужденные женщины*. Сегодня здесь присутствуют некоторые из них.

Подобно задумчивым животным, они лежат на песке...

«Стойте — еще одна герцогиня. О! на этот раз совершенная невинность, смущающаяся любопытница; невозможно рискнуть Бодлером в ее присутствии. Я должен вас оставить, это ее королевское высочество».

И в комнату вошла, в сопровождении двух мужчин, женщина.

## НА ШАБАШ

Кто не узнал бы вошедшую!

Это была рекламированная во всех бульварных витринах фотографий и сотни раз встречавшаяся на всех министерских приемах герцогиня де Мейнихельгейн, со своими классическими плечами, открытым бюстом и хорошенькой головкой австриячки.

Как всегда, ее сопровождал Дарио де ла Пзара, изблуженный художник всех космополитических модниц; его оливковое лицо, большие бархатисто-черные глаза, даже покрой фрака с широкими бархатными отворотами, украшенными португальским орденом Христа, превосходно оттеняли хрупкую белокурую красоту и жемчужную белизну герцогини. Другой был — Шастлей Дозан — трагический актер из «Французской комедии». Говорили, что ее высочество герцогиня София была психопатически равнодушна к игре актера; она неизменно присутствовала на всех спектаклях Дозана в Комедии, и даже, говорят, проводила иные вечера в ложе артиста: чисто немецкий снобизм, заставлявший иностранку гоняться за уже несколько поблекшими звездами парижского света; но моды Берлина всегда отстают от мод Лондона и, кроме ла Пзара, действительный талант и экзотический профиль которого пленили ее высочество, герцогиня София все еще восхищалась Бенжамен Констанами, Каролус Дюранами, Фальгьерами и Каррье-Беллезами.

Впрочем, она была легендарно честна, пряма и лояльна, как воин, и пользовалась всеобщим уважением, несмотря на безрассудные капризы, внезапные отъезды и кочевую жизнь по всей Европе; полгода она проводила за пределами своей страны, вдали от дворца своего супруга.

Клавдий устремился ей навстречу, пододвинул кресло с широкой спинкой; усевшись в середине зала, в стороне от других женщин, герцогиня София с улыбкой во взгляде и на устах приветствовала подводимых ей хозяином мужчин.

Здесь были Мюцарет и Делабар, и Жак Уайт, и даже герр Шапман, и вся банда прилизанных, с цветками в петлицах, англичан; но ни одна женщина не удостоилась этой чести.

Как ни нова была для герцогини Софии парижская жизнь, она была достаточно опытна, чтобы понять, в какой среде она находилась. Сидя в стороне, маркиза Найдорф и принцесса Ольга представились оживленно беседующими; принцесса де Сейриман-Фрилез углубилась в созерцание какого-то бюста, повернувшись спиной к австриячке; старая герцогиня Альторнейшир продолжала занимать Мод. Позади молочно-белых плеч ее высочества возвышались ла Пзара и Шастлей Дозан, словно почетные стражи, и, скромно улыбаясь, наблюдали представлявшихся.

«Я попрошу ее прочесть из Генриха Гейне или песенку Гете, — зубоскалил Клавдий, направляясь к Уайт. — Теперь мы на мемецкой территории». И прибавил, крепко сжимая мне руку: «Как они ненавидят друг друга, какой очаг ненависти зарождается в таком разношерстном собрании. Здесь налицо все степени презрения, от этой немки наверху лестницы и до этой бедняги Алиетты Монто внизу. Последняя, впрочем, жестоко ненавидит этого невинного герра Шапмана, который единственный не ненавидит здесь никого, потому что у него душа Гретхен. Но что может привлечь сюда герцогиню? Сюда, в мою мастерскую? — Да желание быть мною нарисованной. Ла Пзара — для начала, но венец желаний — Эталъ; ла Пзара парижский — но не европейский талант: его признают в Нью-Йорке, но для Вены он не существует. В музей он не попал, только в официальный Салон... Но вот она уже увлечена Делабаром, — вероятно, они беседуют о Вагнере или о Глюке — что еще музыкальнее. Я подожду просить декламировать Мод... Что? Уже чай? — Знаменитый зеленый чай — да, но мы будем пить еще другой, скоро, когда уйдут все докучные».

Два яванца или две яванки (пол так сходен у этой расы), почти нагие, в облаках газа и нагрудниках из раковин, разносили теперь гостям на двух больших медных подносах маленькие чашечки чая. Худощавые и смуглые, они

были безупречно сложены; телесно-розовые и слоново-белые украшения из ракушек казались вышитыми в виде камней на их коже; запястья из нефрита охватывали их тонкие руки и вдоль щек струились странные ожерелья, блестящая, красновато-зеленоватые, похожие на шпанских мух, вырезанных из минералов.

В чашках из хрупкого фарфора дымился благоухающий напиток; мимоходом, руки протягивались за чашками, со смехом, шутками и комплиментами по адресу маленьких идолов; яванки Клавдия имели успех. Сначала их осаждали женщины, а затем окружил ряд мужчин в черных фраках.

«Оргия начинается, — маркиза Майндорф и княгиня Ольга уезжают», — вернул я Эталю. — «Вы полагаете? Их гонит досада — им уже неинтересно с того момента, когда вмешиваются мужчины; к тому же, присутствие герцогини Софии пробуждает их стыдливость. Бьюсь об заклад, что они пре- поднесут мне какую-нибудь шпильку».

И действительно, сицилианка и славянка направились к Эталю.

— Блестяще удался ваш вечер! Вы ожидаете инфанту? — спросила маркиза. — Она может еще прийти, — вы знакомы? — ответил Клавдий. — Если будете давать отчет в «Фигаро», — не называйте нас, — заговорила княгиня. — Слушаю-с.

И, так как маркиза слишком подчеркивала свое прощание и приставала: «Вы, значит, знаете всех на свете? У вас ведь была вся знать?» — Да, и... — возразил художник. Обе дамы вышли.

После их ухода все вздохнули с облегчением. Интермеццо, продекламированное прекрасной Мод, содействовало сближению ее высочества и актрисы; герцогиня София наговорила комплиментов брату и сестре. «Когда вы придете ко мне завтракать? Хотите завтра, в час, в “Бристоле” — оба?» — Группы слились.

Старуха Альторнейшир теперь уцепилась за красавца Дарио; музыканта сменил художник. «Что за изумительный талант у вас, сударь, — пищала она, — я видела в музее Мад-

рида портреты Веласкеса, которые не стоят вашего мизинца: у вас есть портреты...» — «О! это просто вариации на лица женщин», — протестовал художник, который не верил таким похвалам. Маленький Делабар попал теперь из рук бывшей танцовщицы в отягощенные четками руки герра Шашмана. «Из Харибды в Сциллу», — прошептал мне Эталь мимоходом, но, так как красавчик-композитор мечтал о ряде концертов в Берлине и, быть может, даже на будущую зиму о сезоне в Каире, он выносил прикосновения немецкой двуутробки, равно как и ее детское лепетание; международный музыкант собирал новые сведения.

Мюзарет интервьюировал мрачного Шастлей Дозана, поэт-аристократ любезничал с сосетером «Французской комедии». — Каким образом мог комитет принять эту пьесу, — скандировал отрывистый голос графа, — не могу поверить, чтобы так повлияли обеда автора. — На что актер отвечал решительно: «Она театральна». И, отвечая на недовольство графа: «Стихи, — объявил Дозан голосом оракула, обнажив десны и показывая эмаль крепких зубов, — стихи вполне удовлетворительны».

— Ярмарка тщеславий, — бормотал Эталь, наконец вернувшись ко мне. — Эталь поистине казался демоном на этом шабаше честолюбий, лицемерия, соперничеств, зависти, недоброжелательств и низменных инстинктов, которые он точно спустил с цепи. «Хорошо ли я обнаруживаю их характеры? Нравлюсь ли я вам в этой роли? — бормотал он, задыхаясь от довольного смеха. — М-да! Как их прелестные душеньки отражаются на их лицах маленькими гримасками! По правде говоря, здесь только хороши — старуха Альторнейшир и княгиня де Сейриман, — они, по крайней мере, не устраивают своих делишек. Посмотрите на княгиню».

Американка, отойдя в сторону, болтала с обеими маленькими яванками, отвечавшими на странном и щебечущем английском языке; беседуя с ними, княгиня трогала их за плечи, щупала кожу, взвешивала на руке их ожерелья, словно коллекционер, оценивающий редкую безделушку; потом вдруг отвернулась от них и направилась прямо к нам.

«Они очень заняты, Эталь,— ваши куклы с Дальнего Востока. Не одолжите ли вы мне их на день, или на два, на три сеанса? Мне бы хотелось сделать набросок с этих головок». Эталь молча поклонился: «Когда вы мне их пришлете в мастерскую? — продолжала американка. — Я бываю там после двух часов.— Но, княгиня, — когда вам угодно. — Хорошо! Завтра, я могу надеяться, не правда ли? Где господин де Мюзарет?»

Подбежал Мюзарет; княгиня потребовала свое манто и это был сигнал к разъезду; ее высочество София последовала за ней, вместе с сопровождавшими ее ла Пзара и Шастлей Дозаном, герр Шаппман подхватил своего индуса, маленький Делабар улизнул один.

Англичане с цветами в петлицах упорно оставались, опьяневшие от раки\* и сигарет, тоненьких и коротеньких, которые теперь разносили яванки вместе с флаконами греческих ликеров, раки и жасминовой воды, — одурманивающих и сладковатых благовоний, вредоносных для европейцев. Герцогиня Альторнейшир, неподвижная, словно окаменелая под своими бриллиантами и румянами, все более и более походила на мадонну Порока, заклеявленную прозвищем Владычицы Семи Грехов. Чего ожидала эта старушенция, расположившись здесь, кажется, на целую вечность?

Эталь старался задержать — что ему и удалось, — Мод Уайт и ее брата, поговаривавших об уходе; полусгоревшие свечи уже тускло светили в своих медных подсвечниках, на которых образовались целые наросты из восковых слез. Воздух казался насыщенным каким-то прелым теплом, к которому примешивалось что-то зловещее, словно запах тлеющих могильных цветов. Что-то приготавлилось, но никак не могло начаться. Эталь, заметно взволнованный, бросал беспрестанно взгляды по направлению к двери. И взгляды всех остальных, точно по внушению, следовали за ним. — Кто-то из ожидаемых не появлялся.

---

\* Рисовая водка (*Прим. перев.*).

Наконец приподнялась портьера и вошел высокий молодой человек в узком черном фраке, пожалуй, немного чересчур высокий, но очень стройный. «Томас! Наконец-то... — воскликнул Эталъ, бросаясь навстречу новопривывшему. Он лихорадочно схватил его за руки, подвел к нам. — Сэр Томас Веллком, — ирландец, мой друг».

Я никогда еще не видал Эталя таким взволнованным.

Сэр Томас Веллком холодно поклонился. Это был красивый мужчина с печальным кротким лицом, освещенным большими глазами неопределенного цвета, зеленовато-синеватыми, словно вода застоявшегося пруда — прежде всего я обратил внимание на эти глаза; длинные белокурые усы закрывали его милое лицо, но кудрявые волосы были черные. Кожа сэра Томаса Вельлома была чрезвычайно белая, а руки огромны — настоящие руки палача, но выхоленные, вылощенные и, подобно рукам Эталя, украшены перстнями на каждом пальце; и в этом могучем теле чувствовалась какая-то бесконечная усталость, какая-то тягостная принужденность. Взгляд его был меланхоличен. Сэр Томас Веллком едва отвечал на приветствия и излияния Эталя и имел вид человека, пришедшего неохотно.

— Сейчас начнем, — объявил Эталъ, отдал приказания яванкам, затем, отведя новопривывшего в сторону: — Почему вы пришли так поздно, Томас, я беспокоился, — боялся, что вы не придете.

На что ирландец отвечал спокойно:

— Вы знали, что я приду, — я обещал.

## ОПИУМ

Яванки подали каждому из нас по трубочке, наполненной зеленоватой массой; из-за гобеленов появился негр, одетый во все белое, и зажег всем по очереди трубки о пылающие уголья в серебряной жаровне; и, лежа полукругом на подушках и азиатских коврах, облокотившись на персидские бархатные или вышитые шелками угольники, мы теперь молчаливо предалися курению, все сосредоточенно следя за действием опиума.

Мастерская, только что такая шумная, погрузилась теперь в тишину. По знаку Эталя, проворные руки яванок растегнули нам жилеты и воротнички, чтобы облегчить вдыхание яда. Я лежал возле сэра Веллкома. Мод Уайт, свободный стан которой непринужденно колебался под ее черным бархатным пеплумом, курила, расположившись рядом со своим братом. Англичане образовали особую группу и уже стихли под возрастающим действием наркотика.

Престарелая герцогиня Альторнейшир оставалась в своем кресле, выпрямившись и словно застыв в своих драгоценных доспехах; она одна присутствовала, но не участвовала в курении.

Эталь, с трубкой в руках, еще бегал, отдавал различные приказания, — велел потушить все свечи. Только две были снова вставлены и зажжены посередине комнаты; они горели на двух противоположных углах расстеленного ковра; негр набросал здесь целую охапку цветов, затем удалился.

Свечи и цветы! — можно было подумать, что здесь панихида. Дым от наших трубок подымался, свиваясь в голубоватые спирали — в мастерской царило тягостное молчание. Эталь наконец пришел и улегся между Веллкомом и мною — и начались танцы яда...

Среди тягостной и немой тишины обширной мастерской, наполненной парами, — раскачивания, ритмический топот и медленные движения словно мертвых рук двух яванок...

Стоя среди набросанных цветочных лепестков, освещенные призрачным светом двух свечей, они лихорадочно топтали ковер глухими ударами пяток; их колени и тонкие ляжки сверкали среди развевающихся прозрачных газов. Теперь на них были странной формы диадемы, вроде конусообразных тиар, делавшие их лица треугольными и устрещающими; в то время как они извивались в тишине, медленным и размеренным движением всего тела, нагрудники из раковин неслышно соскользнули с их торсов и нефритовые запястья с их обнаженных рук: они раздевались. Украшения легко соскользнули к их ногам с легким звуком раковин, упавших на песок, белые шелковые туники последовали за медленным падением украшений; и теперь, как бы подчеркивая свою наготу заостренными конусами диадем, они казалось, исполняли среди голубоватых паров восхитительный и заунывный танец двух черных змей.

В полутемной зале теперь виднелись неясные группы разметавшихся курильщиков; то здесь, то там, выступали из мрака искаженные лица, словно маски, — бледные лица уже опьяненных людей; другие тонули во мраке и, среди всех этих казавшихся убитыми тел, выделялся неподвижный силуэт старухи Альторнейшир, словно зловеющая и величественная статуя, по временам освещаемая пламенем свечей, отражавшимся в кристаллах ее ожерелий.

Уже слышалось храпение заснувших; среди лепестков продолжали плясать обнаженные куклы.

Вдруг они схватили за талию друг друга и закружились в тесном объятии, представляя одно тело о двух головах, затем вдруг исчезли... Да, вдруг исчезли, рассеялись как дым, и в то же время зал внезапно осветился.

Целая стена ковров вдруг исчезла и в форме сцены появился стол, служивший Эталю для моделей, посеребренный луной, холодный и лощеный словно паркет, освещенный снаружи перламутром и инеем бледного ночного неба.

На небе, затянутом редкими облаками, вырисовывались черные и острые силуэты труб и крыш, целый горизонт труб, срезанных стен и мансард; вдали виднелся ку-

пол Валь-де-Грасс: молчаливый, фантастический Париж с птичьего полета, панорама из окон Эталя, декорированная рамой стеклянного окна его мастерской... И среди этой импровизированной сцены виднелось призрачное существо, что-то белое, похожее на вьющийся газ или снег, что-то серебристое и неосязаемое; и это хрупкое, кружащееся и прыгающее при луне, в этом унылом и пустынном углу мастерской, существо, была очаровательно-нагая танцовщица.

Словно хлопок снега, кружилась она в немом воздухе и только легкий звук ее прыжков оживлял тягостную тишину. Если бы не легкий шелест ее газовых одежд, она была бы сверхъестественна в своей прозрачности и худобе: ножки ее казались не толще цветочного стебля, едва заметные очертания груди, бледность, переходящая в голубизну от лунного света, невероятно тоненький стан придавали ей сходство с совершенно призрачным цветком, призрачным и отравленным какой-то зловещей красотой. Фон парижских крыш и труб венчал это видение. Это было маленькое создание — душа Монпарнаса или Белль-Вилля, танцующая здесь среди холода ночи. Ее курносое, но нежное личико привлекало мрачным очарованием мертвой головки; длинные черные бандо составляли ее головной убор, и в глазах, окруженных синевою, горело опьяняющее пламя, синие вспышки которого повергали в трепет... Где я уже видел это существо? Она походила своей хрупкостью на Вилли, а улыбкой — на Изе Краниль, со своим алым треугольником, иронически улыбающимся и открывающим твердость эмали... О! эти тени на ее спине! Как просвечивал скелет под плоскостью ее грудей!

Вокруг меня из грудей вылетали хрипы: курильщики уже больше не храпели; голова моя была тяжела и холодный пот смочил меня, а белый хлопок все еще кружился...

Вдруг он загорелся фиолетовым светом, словно освещенный газовым прожектором... И вдруг крыши с неба хлынули в мастерскую. Теперь они были на потолке, стекло окна в этот же момент разлетелось, невидимые дома этих крыш и труб вдруг выросли из-под земли и я, лежа на моих вос-

точных подушках, очутился на тротуаре улицы в пустынном уголке Парижа.

Это был какой-то перекресток улицы в унылой окраине города, — площадь, окруженная новыми зданиями, еще не населенными, ворота, забитые досками, пустые пространства, уходящие в даль... морозная ночь, очень ясное небо, жесткая мостовая: ужасное ощущение запустения и одиночества...

По одной из улиц, застроенной белыми зданиями, вышли два ужасных оборванца: бархатные штаны, полотняные куртки, красные фуляры, обмотанные вокруг шеи — гнусные воровские профили из-под высоких фуражек. Они неслись, словно ураган, таща за собой женщину, отбивавшуюся от них, одетую в бальное платье. С плеч ее ниспала роскошная шубка; это была белокурая, хрупкая женщина, лица которой не было видно — я боялся ее узнать. И вся эта сцена насилия происходила в глубокой тишине.

Я видел только жемчужную спину и нежный белокурый затылок молчаливой и истязуемой женщины; грабители тащили ее за руки, упавшую на колени, оцепеневшую от ужаса. Я хотел позвать на помощь и не мог: две сильные руки, два когтя, схватили и меня за горло. Вдруг один из оборванцев бросился на женщину, опрокинул ее лицом к земле и, став на колени, перерезал ей шею кортиком... Брызнула кровь, запятнав красным черную бархатную шубку, белый шелк платья и нежный золотистый затылок. Я проснулся со стоном, задыхаясь от душивших меня криков.

Вокруг меня лежали в тяжелом забытьи остальные курильщики с искаженными лицами. Ковры снова упали на стеклянное окно мастерской: было темно, царила ночь, две свечи все еще горели, бросая зеленоватый цвет на обезображенные лица. Сколько было здесь этих распростертых тел! Мастерская Эталя была ими вся усеяна; вначале нас не было столько: откуда явились все эти трупы? Ибо все эти люди уже не спали больше. Это были мертвецы, целая волна позеленевших и холодных трупов, и она все возрастала, вздувалась, словно недвижный прилив, доходя до самых ног герцогини Альторнейшир, сидевшей выпря-

мившись, с широко раскрытыми глазами, все еще в своем кресле, словно кумир смерти!

Она также позеленела под своими румянами, — вся гнойность, наваленных в кучу тел, фосфорически светясь, просачивалась сквозь ее дряблую кожу. Надутая как идол под своими посиневшими бриллиантами, она казалась усеянной изумрудами, — зеленой Богиней, — и среди лица ее, цвета цикуты, одни глаза, оставшиеся светлыми, сверкали.

И я увидел гнусную сцену: старуха наклонилась, почти переломившись — настолько она была оцепеневшей, — к телу молодой женщины, распростертой у ее ног, — к гибкому и белому трупу, лежащему на земле, у которого виднелся только белокурый и полный затылок, походивший на затылок Мод Уайт; и Альторнейшир с зловещим смехом приблизила к этому затылку свой ненасытный рот или, вернее, уста гнусной пиявки, ибо от напряжения из гнилых десен вываливались зубы.

— Мод! — закричал я, привскочив в ужасе. Но не к Мод тянулась ненасытная истуканша, ибо в тот же момент я увидел в фиолетовом нимбе улыбку и взгляд актрисы: ее таинственное лицо пылало в ореоле над ужасной герцогиней, все снова погрузилось в мрак, и в то же время знакомый голос скандировал над моим ухом:

Целомудрие Зла в моих ясных глазах.

Это был голос Мод — ее голос!

## КОШМАР\*

Здесь мои воспоминания обрываются...

Я погрузился в какой-то хаос галлюцинаций, отрывистых, странных, бессвязных; уродливые видения всплывали рядом с комическими, и в каком-то кошмаре, словно связанный невидимыми путами, я с тоскою и ужасом следил за тягостным зрелищем самых безумных сновидений; предомной проносился целый ряд чудовищ и демонов, копошащихся во мраке, подобно фреске, и черты их загорались серой и фосфором на движущемся экране сна.

Это была какая-то бешеная скачка сквозь пространства... Я носился, схваченный за волосы чьей-то сильной рукой, холодными и энергичными когтями, на которых чувствовалась твердость кристаллов; я угадывал, то была рука Эталя; голова кружилась и кружилась у меня без конца, я словно мчался по краю пропасти под облаками камфары и соли, под небесами, ужасающе ясными в их ночном сиянии, и, ошеломленный, я кружился над пустынями и реками. Проносились песчаные пустыни, пересекаемые тенистыми оазисами, иногда попадались города, — города, спящие со своими обелисками и куполами, облитыми молочным светом луны, среди пальм из металла. Далее нам встретились среди бамбуков и корнепусков в цвету, светоносные лестницы тысячелетних пагод.

Их охраняли стада слонов, срывавших для богов кончиками своих мягких хоботов голубые лотосы озер; легендарная и ведическая Индия следовала за таинственным Египтом, и повсюду, где мы проносились, берега рек и озер охранялись странными идолами, — некоторые были точно наскоро высечены из гранита ударами топора и сидели, сложив руки на коленях, смотрясь в воду своими

---

\* В оригинале название главы – *Smara*, т.е. отсылка к новелле Ш. Но-дье «Смарра» (1821) (*Прим. ред.*).

ужасными головами догов; у других торсы были окружены четверным рядом сосков.

Были здесь идолы сверкающие, словно совсем новые; другие же были так стары и так изуродованы, что лиц их совсем нельзя было различить; у одного под мышкой кишело целое гнездо змей. У другого, красота которого была подобна музыке, лоб был усеян звездами; перед всеми этими идолами при свете луны молились на коленях верные, и вместе с ними животные.

Три матроны с тяжелыми крупами и отвислыми грудями стирали белье у подножья Сфинкса; их руки выжимали и колотили подозрительное белье, с которого стекала окровавленная вода.

Одна из этих прачек походила на княгиню Ольгу, другая — на маркизу Найдорф; третью я не узнал. Молящаяся двуутробка в тени изображения Будды показалась мне воплощением герра Шаппмана; подобно берлинскому другу Эталя, она непрестанно перебирала лапами опаловые четки...

Близ турецкого кладбища целая цепь аистов, усевшись на высокую стену, показывала мне во мраке ночи знакомые силуэты и гоготала при моем прохождении.

Теперь мы неслись над болотами. Вдруг рука, державшая меня, разомкнулась... Я ощутил липкую грязь, какой-то удушающий и вонючий мрак: и очутился в склепе с влажными сводами, лежа в какой-то странно движущейся грязи, местами вздымавшейся, словно теплый прилив, в котором увязло мое колыхающееся тело; легкий шелест, скрежет... что-то неведомое дотрагивалось до меня, глухое урчание подымалось у меня в животе, чье-то горячее дыхание испугало меня, и вдруг я с ужасом нащупал руками маленькие шершавые и жирные существа, копошившиеся на мне. Временами меня задевали чьи-то дряблые крылья и отвратительные поцелуи маленьких остроконечных мордочек, в которых чувствовались зубы, я ощущал на шее, на руках, на лице. Я был в плену чьих-то ласк, все мое тело осыпали почти до бесчувствия чьи-то страстные и утонченные поцелуи; я весь, от пальцев ног до волос, был во

власти бесчисленных пиявок; зловонные животные овладели моим телом, исподтишка оскверняя мою наготу.

Внезапно среди мрака, сделавшегося зеленоватым, я увидел смеющиеся, странно раздувшиеся лица двух яванок. Они носились, отделившись от туловищ, подобно двум прозрачным лакированным пузырям; они были увенчаны личинками майских жуков и из полузакрытых глаз, словно сквозь щели, струился мертвый и масляный взгляд. Пузыри смеялись, между тем как их четыре руки без плеч, — четыре дряблых и бескровных кисти, — приблизившись к моему лицу, угрожали мне своими острыми ногтями, переходящими в когти в золотых чехлах.

Теперь при свете этих двух личин я увидел, какой ужасный враг овладел моим телом. Целые полчища огромных летучих мышей, жирных летучих мышей, живущих под тропиками, из породы вампиров, пили мою кровь, сосали мое тело, и ласки их порою были так настойчивы, что я весь содрогался от ужасного и странного наслаждения, а когда я, почти обессиленный, попытался стряхнуть с себя этот рой поцелуев, что-то волосатое, холодное и дряблое попало мне в рот — я инстинктивно укусил и горло мое оказалось обрызганным кровью: я ощутил вкус мертвого животного, зубы приникли к теплomu мясу. Это было пробуждение!.. Наконец-то! Ноздри мои щекотал нашатырь, чья-то рука смачивала мне виски мокрым полотенцем; вокруг меня суетились и в полусне, от которого я медленно освобождался, я различал шум шагов, голоса... Я открыл глаза.

Эталь стоял у моих колен; мастерская была в беспорядке, — рассветало, свежий воздух, врывавшийся из открытого большого окна, освежил меня. Одна моя рука была в руках сэра Томаса, хлопавшего меня по ладони; из-за плеча брата на меня смотрели испуганные глаза Мод Уайт.

— Никогда не следует курить, — заключил сэр Томас.

Утренние лучи освещали угрюмую и мрачную мастерскую — унылый вид следов вчерашней оргии, поблекшие и запачканные ковры, трупный вид бюстов, пятна от цветов

на коврах, на подсвечниках воск, застывший зелеными сталактитами.

Собирались расходиться. Англичане, вставшие при помощи негра, удалялись неподвижные, с угрюмыми и угрожающими лицами, почти машинально натягивая на себя пальто; Мод, успокоившись, закутывалась в длинную накидку желтого шелка. Приподнявшись на моих подушках, я пил маленькими глотками воду с арникой, которую мне подал сэр Томас. О! с какой жалостью смотрели на меня его большие светлые глаза!

— Ну, мы можем выйти, — сказала ирландка, протягивая мне руку; Жак Уайт сделал то же. Прощаясь, я заметил на пальце Мод две большие черные жемчужины и рубин, — огромный трилистник камней, который я видел на пальце Альторнейшир до нашего курения!.. А глаза этой Мод были светлы как вода и ее бледное лицо свежо и спокойно.

Герцогиня в этот момент выходила из комнаты Эталя. Волны лилового шелка, потоки золотых кружев развевались, окутывали ее до ушей; она заново напудрилась и набелилась и лицо ее, — старая морда сатиresses, — улыбалось под облаком белых кружев. — Мы уходим, — сказала она Жаку и вышла вместе с братом и сестрой. — Надо последовать их примеру, — настаивал Томас Веллком, — утренний воздух вас освежит. Хотите, я вас отвезу? — Герцога де Френеза ждет его карета, — вмешался резко Эталъ. — Лучше поехать в открытой коляске. О! я не повезу вас в Булонский лес — мы поедем по набережной, вдоль Сены. — И, отвечая на движение Клавдия:

— Господин де Френез живет на улице Варенн, а я в отеле Пале.

## СФИНКС

9 ноября 1898 г. — Томас Веллкома только что вышел от меня и я еще нахожусь под обаянием его беседы и в то же время полон непонятного страха...

Томас Веллкома приходил ко мне с очень неожиданным, очень дружественным и очень щекотливым предложением... Но что могло его привести ко мне, — его, едва знакомого со мной, которого я видел впервые, три дня тому назад, на этой гнусной оргии, организованной Эталем, — что могло его довести до излияний и до попытки спасения, ради которой он пришел к чужому, безразличному для него существу?

Ищу и не нахожу объяснений.

Быть может, это необъяснимая, внезапно возникшая симпатия? Этому я не верю. Моя внешность отталкивает; на первый взгляд я произвожу беспокойное и гнетущее впечатление. К тому же, на мой счет существуют легенды... Даже лучше: я отталкиваю от себя; «симпатичный» — он не произносил этого слова, а если бы и произнес — я бы выставил его... Симпатичное существо... *Симпатичный иностранец*, — вас осыпают этими словами гиды и комиссионеры на улицах Флоренции и Неаполя... Это было бы недостойно сэра Томаса Веллкома и меня.

Злоба против Эталя, — быть может, внезапно вспыхнувшая ненависть к художнику? ибо его попытка вредила больше всего Эталю. Но ведь Эталю рекомендовал мне Веллкома за своего лучшего друга, да и я чувствую отлично, что между ними существует какое-то соучастие, есть что-то неизгладимое и таинственное между этими двумя людьми!

Быть может, это жалость? Жалость ко мне! Я бы этого не потерпел!

А если это последний маневр Эталя, чтобы взволновать меня, — еще более взвинтить, ускорить то безумие, в котором я бьюсь, словно в сетях, постепенно затягиваемых ужасной рукой, хищной и упрямой рукой, покрытой чудовищ-

ными кольцами этого зловещего англичанина?.. А если эти оба человека согласились издеваться надо мной и толкать меня все дальше в пропасть, уготованную мне Клавдием?

Я уже не понимаю, куда я иду... Я не владею собой, я спотыкаюсь, кружусь и чувствую, что попал в ужасную западню...

Со времени этого вечера в мастерской Эталя, кошмаров и галлюцинаций этой позорной ночи... я не могу найти сам себя!

*15 того же месяца.* — Я размышлял о цели посещения Томаса Веллкома. Нет, — этот человек не хочет мне никакого зла; порыв, который привел его ко мне, был искренен. С такими глазами не лгут, они выражают такую печаль... и это выражение нежной жалости и бесконечная доброта взгляда, которая обволакивала меня, когда он со мной говорил, — страх в голосе, которым он оттенил свой вопрос: «Вы давно знаете Эталя?» И чувство облегчения, отразившееся на его лице при моем ответе: «Пять месяцев!», похожее на выражение радости, озаряющее лицо врача, узнающего, что болезнь его пациента недавнего происхождения, еще излечима. Точно луч надежды осветил его глаза, когда я сказал ему: «Пять месяцев».

Как он дал мне понять в нескольких фразах, не настаивая на словах, не нажимая на рану, как он мне дал понять, что он знает и сочувствует моему несчастью, что он сам был так же болен, как опасен был для него когда-то Эталъ и как вреден он теперь для меня. «Он большой, очень большой артист, интересный ум и очень верный друг, но его причуды, — хуже, чем причуды, страсть к странностям, к ненормальному и чудачествам могут оказаться пагубными для существа нервного, живущего воображением; человек, которого нужно устранить из своей жизни, как бы мало он ни способен был на нее влиять. Не то, чтобы я придавал значение легендам, циркулирующим насчет Клавдия здесь и в Лондоне, и здесь даже более, ибо в Париже у вас, французов, какая-то мания сплетен и рассказов друг про друга;

но нельзя отнять того, что у моего друга Клавдия странные вкусы. Его привлекает болезненное, ужасное; моральные уклонения и физические недостатки, убогость душ и чувств представляют для него поле для самых безумных опытов, — источник сложных и преступных наслаждений, которым он умеет предаваться с такою радостью, как никто; к пороку и уклонениям у него более чем любопытство дилетанта: врожденное пристрастие, род страстной и пламенной склонности, которым обладают для некоторых малоизвестных случаев и редких болезней темпераменты ученых и великих медиков.

Он подстерегает, выискивает, выбирает все это; настоящий коллекционер цветов зла. Вы уже видели, какую божественную коллекцию орхидей он сумел соединить у себя в тот вечер. Будьте уверены, что эта выставка космополитических пороков, проведенных всю ночь в его мастерской, не единственный вечер в его жизни. К тому же, он обладает чутьем индийского охотника, чтобы напасть на их след; его влечет к пороку, как свинью к трюфелям, он нюхает его с наслаждением — этот запах его опьяняет; он понимает всякую гнусность и любит сложные и глубокие пороки. Это Видок... грязных душ, как у вас говорят во Франции... “Видок!” Это метко сказано!

Сказать, что Эталь культивирует эти преступные цветы, как его обвиняли в Лондоне в культивировали у своих моделей бледности, анемии, чахотки и томности, — и все это из-за пристрастия художника к жемчужным тонам и синеве вокруг глаз, к известным выражениям взгляда и улыбки, к страданиям, в которые обращалась красота судорогой губ и нежной блеклостью век и лица! Нет, это означало бы слишком довериться легенде, увы, уже существующей, и придавать фантазиям Эталья трагическую величавость, которой они не обладают.

Что же из того, что наш друг Клавдий имеет пристрастие к отравлениям, да еще к отравлениям ради удовольствия! Это психологический преступник, — тот вид преступника, который терпит в настоящее время законами; но в его оправдание служит то, что он производит свои опыты,

главным образом, над людьми уже больными и вообще приканчивает только присужденных к смерти. Локуста посылала таким образом рабынь к Августулу, жаждавшему полюбоваться этим эффектом; но Эталь совмещает в себе и отравителя и Цезаря. Он предлагает занимательные зрелища самому себе; он развратит кого-нибудь охотно, чтобы увидеть, до каких пределов дойдет этот последний в своем увлечении пороком. Доходят иные и до убийства, но не следует, чтобы герцог де Френез оказался в этом положении.

Я бы мог быть таким, — сэр Томас предупредил мое движение. — Так же, как и вас, меня терзала мечта, я был во власти галлюцинаций, бессознательно, не имея другой воли, как воля этой длительной мечты. Разбитый, обессиленный, отупелый, подобно вам, в течение долгих лет я изображал собой несчастного разбуженного сонливца. Я проводил тогда все зимы то в Алжире, то в Каире или в Тунисе, подобно вам, плененный взглядом, ускользающим взглядом, той самой Богини, которая волнует и преследует вас во сне... В течение десяти лет я исколесил весь Восток в погоне за навязчивым и безумным видением одного вечера бессонницы и экстаза.

Но Богиня, — та самая, которая и вам явится в один прекрасный день или вечер, если вы не поборете вашей мечты, — эта Богиня постоянно мне лгала!

Влюбленный в призраки — вот кем я был десять лет моей жизни; то же повторяется и с вами, и таким же вы еще сделаетесь непоправимо, если вы не положите этому предел, сударь, ибо взгляд этот вечно убегает, и Астарта — вампир и самая сущность ее — ложь; и тот, кто уже солгал, будет лгать всегда!

Этот взгляд! И, однако, однажды зимой я поверил... Четыре года тому назад, в безлунную ночь на Ниле, гребцы лодки, в которой мы медленно... о! как медленно спускались по течению, заснули... Я еще вижу беспредельный пейзаж Египта, убегающий за пределы зрения, бесконечно плоский, бесконечно желтый, едва подернутый пеплом, в

бездонной синеве неба... В эту ночь я поверил, что Астарта явится мне. Наконец-то Богиня покажется!

Мы спустились по Нилу...

И уже в продолжение часа я с любопытством следил, как увеличивалась за далеким поворотом реки какая-то странная черная точка, вероятно, часть стены старинного храма или, быть может, просто скала, купающая свои уступы в воде.

Лодка медленно и тяжело скользила, не колеблясь, точно во сне, и медленно, среди тишины этой беззвездной ночи, приближалась интригующая меня тень, обрисовывалась, теперь она уже была видна, — то была спина огромного сфинкса из розовато гранита с профилем, источенным в течение веков. На палубе все спали поистине мертвым сном, весь экипаж точно впал в оцепенение; и движение лодки, приближавшейся к неподвижному животному, наполняло меня возрастающим ужасом, ибо теперь сфинкс казался мне светящимся. От его спины исходило словно туманное сияние, и в впадине его плеч виднелось существо, спавшее, стоя, с запрокинутой головой.

Это была стройная молодая фигура, одетая, подобно феллахским погонщикам ослов, в тонкую голубую гандуру; на ногах были золотые запястья; это был или юный принц, или раб, ибо поза этого спящего была и царственной, и подобострастной: царственной по доверчивости, — подобострастной по угодливости и искусственной смирности.

Одежда позволяла увидеть плоскую грудь белизны слоновой кости; но на шее сочилась, подобно широкому рубцу, царапина или рана! Лицо должно было быть восхитительно уже по нежному очертанию подбородка; но, закинутае назад, оно скрыто было полосой тени.

В ужасе я стал звать, громко крича, но никого не мог разбудить; туземный экипаж и английские матросы, все были объаты каким-то волшебным сном. Они проснулись только на заре, когда сфинкс уже исчез, остался далеко позади.

Когда на другой день я рассказал мое приключение, драгоман объяснил мне, что это, должно быть, был какой-нибудь феллахский погонщик ослов, зарезанный арабскими бандитами, наводняющими эти места. Убив юношу, они положили труп туда, чтобы предупредить путешественников; ироническое и полезное объяснение!

Но как объяснить этого светящегося сфинкса с его тихим и ярким сиянием, которым загорелся розовый гранит, и сверхъестественную красоту лица человека, уснувшего в его тени! Я чувствовал, что я пережил волшебную минуту, прожил несколько мгновений божественной и чудесной жизни, впрочем, такой обманчивой!

Эталь уверял меня, что мне это пригрезилось, так как, конечно, Эталь был на палубе, возбуждая мою чувственность, внушая мне болезненные сновидения. — Вы видите, что вам нечего мне завидовать, и что я был когда-то несчастным, так же мучимым, как и вы теперь».

## СЭР ТОМАС ВЕЛЛКОМ

«Уехать к солнцу и к морю, — поехать лечиться, — нет, снова найти себя в странах новых или очень старых, где еще жива вера, в странах, не отравленных нашей разлагающей цивилизацией, окунуться в силы, здоровье и традиции народов, сохранивших свою юность, пожить в Индии и на Крайнем Востоке под светлым небом, у светлого моря, слиться с природой, которая одна не обманывает нас, освободиться от всех условностей и суетных привязанностей, отношений, предрассудков, возвышающихся тягостными тюремными стенами между нами и реальностью вселенной, — словом, жить жизнью своей души и своих инстинктов вдали от искусственной, напряженной и нервной жизни Парижей и Лондонов, — в особенности вдали от Европы!.. Ведь есть же Италия, Испания, острова Средиземного моря, Сицилия, Корсика, лучезарное утро в Аяччо с синевой моря, виднеющегося сквозь кипарисы и сосны, цветущий миндаль на склонах Таормины и исполинская тень Этны над античной грезой греческого театра; древние острова Архипелага, некоторые маленькие гавани Адриатики, прибрежные городки Истрии, более позабытые и более обветшалые в своей солнечной молчаливости, чем город дождей и дворцов... И убаюкивающее бездонное очарование турецких городов, одуряющая тень пальм! Да, существуют еще, — вдали от Бедекеров и Куков, — уголки, где можно вкушать интимные и совершенные радости... Да что, впрочем, я говорю? Человек, умеющий уединяться, может жить счастливо в Тунисе и даже на Мальте, — на Мальте, теперь наводненной англичанами... О! уехать — что за целительное и сложное опьянение — оградиться морем, огромным пространством моря, изменчивого и волнующегося, ото всех своих прежних страданий, от своей жизни и жизни докучных.

Но, чтобы достигнуть этого — не надо больше привязываться ни к кому. Даже если любишь собачонку и остав-

ляешь ее, отъезд уже кажется маленькой смертью. Достаточно невидимых пут сковывает нас; мир случайностей, огромный и великолепный, один способен исцелить наши раны, ужасные язвы нашей современной души, истощенной книгами, удовольствиями и цивилизацией... О! как исцеляют долгие переезды под еще невиданными созвездиями, жестокая и ностальгическая радость коротких встреч без завтрашнего дня, ибо пароход, привезший вас обоих на Корфу, отвезет ее дальше в Александрию; вы живете удвоенным темпом, — пульс бьется учащенно в сознании неизбежного и предвидении отъезда; в одном поцелуе — часто вся душа, в одном беглом объятии — целая жизнь сердца, в одном пожатии руки — забвение целого существования, вся наука жизни — как она должна быть, — пламенная, берущая, дающая, открытая и затем уносимая неведомым далеким, — без забот об условностях и кастовых предрассудках, — эта чудесная наука жизни, как она должна быть, — мечтательная и действенная, запечатленная в печальных глазах путешественниц и светлых зрачках моряков, и все это на фоне таких старинных магометанских портов, каких причудливых очертаний гор, когда грудь свободно дышит под пассатным ветром восточных морей и сердце сжимается от восхитительного давления жизни!

Путешествовать, путешествовать: полюбить небеса, страны, плениться каким-нибудь городом или расой, — но удалиться от людей.

Исцеление, — секрет счастья вот в чем: любить вселенную во всех ее изменчивых видах, ее изумительных анти-тезах и еще более изумительных аналогиях. Внешний мир становится для нас, таким образом, источником неистощимых радостей, тем более совершенных, если человек будет ему служить единственным зеркалом: огорчения и раны наносят нам только люди. Избегайте людей, — избегайте Эталю, изучайте народы: один из них подарит вам взгляд, который вы ищете, и там вы найдете вашу душу, вашу одинокую, страждущую и измученную душу: расы! в каждом из нас есть следы прошлого, связывающего нас с какой-

нибудь из них и случается найти свою настоящую отчизну в сотнях верст от нашего родного города.

Подобно вам, я страдал навязчивыми идеями смерти и ужасов: вас преследуют маски, а меня преследовали отрубленные головы, это дошло до болезни, до невыносимой одержимости; о, как я страдал. Повсюду чудились они мне, повсюду преследовали меня, издевались надо мною, эти рты отделенных от туловища голов: в особенности преследовали меня эти галлюцинации на окраинах города, в пустынных мрачных дорогах вдоль укреплений, и так как я изучил мою болезнь, то хорошо знал, где и как возникают мучительные и злостные видения.

О! помню я лунные ночи, бешеную скачку на дрожках от бульвара Бино к холмам Биланкура, медленные прогулки вдоль печальных дорог, окаймленных палисадами и редко попадающимися виллами с закрытыми ставнями. Как легко возникали, зарождались от этих убогих и брошенных видов, наваждения преступления, как расцетала моя болезнь, что так нравилась во мне Клавдию. Как эта местность бродяг воплощала дух современного кошмара, и с какой угодливостью обманчивая Астарта, так упорно не появляющаяся в зачарованных городах Ислама, появлялась в своих уборах вампира на краях пустых пространств и в брошенных кабачках! Меня сопровождал постоянно Эталь, и с ним я узнал так же, как узнали вы, дорогу Возмущения, — каменоломни Монружа\* и костеобжигательные печи Малакова, — всю эту мрачную парижскую округу, где усмехается Астарта притонов, — от зловонных берегов Бьевры до пустынь Женневиллье.

О! убожество — парижские труппы Малакова и Монружа, когда существует треугольный форум Помпеи и убегающие холмы Сорренто и Кастельмары, — очаровательная старая Кампания, Неаполитанский залив, арабески Монпеллерино в Палермо, храмы Агригенты и каменоломни Сиракузы, эти великолепные мрачные каменоломни, такие белые, где каждый шаг вздымает пыль веков и могил... Си-

---

\* Рабочие кварталы Парижа (*Прим. перев.*).

ракузы! Таормина, Агригента, Катанья, все эти лазоревые воспоминания Великой Греции, еще спящей под оливковыми деревьями и зеленеющими дубами Сицилии!

Там только вы исцелитесь: дайте проникнуть вселенной внутрь вас и, постепенно наслаждаясь, овладейте миром, вот — правила для путешественника. Быть мудрым и отзывчивым к впечатлениям природы и искусства, находить в оттенках неба, в очертаниях горы, в пленительных глазах портретов, в профиле музейного бюста или в силуэте храма духовное и чувственное общение, откуда рождается целительная и плодотворная мысль... Жизнь и физиономия города — размышляли ли вы когда-нибудь об этом? — Полюбить город, — сойтись с ним, как сходятся с женщиной, овладеть им, не спеша, наслаждаясь своим собственным волнением; искусно возбуждать в нем его страсти и с каждым анализом приближаться к верховному синтезу, в котором вся радость жизни, когда ею умеют пользоваться.

Города, в особенности города населенные, города старые, богатые историческим многообразным прошлым, искушенные, как зрелый плод, и прекрасные тайной столько прожитых жизней, прекрасные своей борьбой за процветание и любовь, — в особенности приморские города — Марсели, Генуи и Барселоны, счастливые города Средиземного побережья с их оживленными портами, солнечной мечтательностью старых набережных и их тягой «куда-то» в далекие страны, к далеким берегам, возвещаемой снастями, парусами, фалами и рангоутами столько отъезжающих кораблей. Вот куда вы должны поехать, — вдохнуть с морским ветром вкус к завоеваниям и деятельности, чтобы ваш сплин растаял на солнце.

Гавани, матросы, — ребячливая и циническая порода, — наполняют их веселостью своих инстинктов сорвавшегося самца и мечтательностью своих наивных глаз, — этих глаз цвета воды и неба, которые всегда с удивлением видишь на обветренных и суровых лицах морских волков.

Гавани! промышленное население, подозрительное и космополитическое, располагает там на улицах свои живо-

писные отрепья каторжников и корсаров; гнусная проституция, вся сотканная из грязи, голода и нищеты наших северных стран, расцветает под солнцем юга какой-то особой красотой; в нарядах нагло предлагающих себя женщин здесь есть что-то вызывающее, сверкающее, восточное; их скулы натерты румянами, их горящие словно угли глаза, их прически, усыпанные мишурой, делают их похожими на вечных кукол, словно они — единственные образцы форм, предназначенных для избытка похоти и для здоровья мужчин: и любовь там заключает в себе что-то животное, что успокаивает и вместе с тем возбуждает мозг интеллигентов... О! постоянный риск авантюры, которым горят глаза путешественников, вооруженные схватки, насилия и убийства ножом из-за угла в некоторых подозрительных улочках, например, в Тунисе, старой Генуе и Тулоне, и Виллафранке близ Ниццы, да и в самой старой Ницце. Там среди зловония рынков, среди отбросов плодов и овощей, только там, явится вам Астарта в образе какого-нибудь прекрасного человеческого цветка, пышущего здоровьем, чересчур розовая, чересчур рыжеволосая, с загадочными глазами животного, подобно той мясничихе с профилем Иродиады, которую провидели Гонкуры на рынке в Бордо, и вы согласитесь со мной, что оригиналы музейных портретов, тех самых, которые вас волнуют, живы только среди народа. В Венеции догарессы Академии и «Святые Урсулы» Карпаччо постоянно встречаются на главном рынке и вдоль маленьких каналов Мурано. Кавальери продавала апельсины в Неаполе, а Каролина Отеро — в Кадиксе, и это, быть может, две самые красивые женщины во всем вашем Париже.

О! вы, — большие тоской по прекрасному, угнетаемые поголовным уродством наших современных городов, где дворцы — банки, а церкви — заводы, — бегите от анемии, от хлороза и от разврата, жалких изобретений ничтожных душ в союзе с голодом. Бегите ото всех утонченных гнусностей спиртуозного Лондона и нищенского Парижа; уезжайте, устраивайте свою жизнь в другом месте. Я уезжаю завтра в Индию — хотите ехать со мной? Я увезу вас! Я не

страдаю более ни кошмарами, ни галлюцинациями с тех пор, как сам строю свою жизнь. Создать свою жизнь, вот конечная цель; но как нужно познать самого себя, раньше чем прийти к этим выводам. Никто нам ничего не разъясняет; друзья обманывают нас насчет наших собственных склонностей, и только опыт открывает их нам. Против нас — наше воспитание и наша среда, да что я говорю? сама наша семья. Да я еще умышленно не называю предрассудки света и законодательства людей; затем, часто еще встретится какой-нибудь Эталъ и тогда уже поздно жить своей жизнью — единственной — для которой вы родились, и это часто случается тогда, когда нам откроется наш путь. Слишком поздно, слишком поздно — каркает обыкновенно судьба в ответ на печальное «nevermore» опыта, — *никогда более, никогда более.*

Я видел, как вы третьего дня сражались с ужасными кошмарами во время этого курения — которое не было курением опиума, но гашиша; опиум не курят так и в этом обмане я хорошо узнал Эталя. Я видел, как мы бледнели, обливаясь потом, хрипели и задыхались с несвязными жестами и словами, — целая мимика агонии, навлекшая на меня ужасные воспоминания; и меня объяла великая жалость, жалость исцелившегося к больному, пораженному его болезнью, эгоистическая симпатия толкнула меня к вам; и, угадав в нас обоих некоторое сходство вкусов, страданий и свойств, я тотчас побежал к вам и, так как я старше, если не годами, то опытом, я пришел предложить вам мой факел и закричать: “берегитесь” на краю пропасти, — вы можете еще избежать падения».

Я слушал этого человека, точно пил любовный напиток.

## ИНОЙ СОБЛАЗН

16 ноября 1898 г. — Но я не уехал! Дождь струится, унылые деревья на улицах вздымаются к небу мутно-кисельного цвета; лужи черной воды, стоянки фиакров, толкотня зонтиков, — картина грязного и тоскливого ноябрьского Парижа, а сэръ Томас Веллком плывет теперь навстречу солнцу. Пакетбот морской компании увозит его к благоухающей, далекой Индии, — Индии с лесами бамбуков, священными прудами и храмами... Одного слова Эталя, одного часа беседы с этим англичанином, одного вечера, проведенного с ним в кабачке, оказалось достаточно, чтобы меня удержать.

Как он ясно видел в моей душе! От этого человека ничего не скроешь. Я еще вижу нас в общей зале этого ресторана, среди высоких зеркал, залитых электрическим светом, со сверкающей хрустальной люстрой и всей этой окружающей нас публикой — женщин и мужчин в черных фраках. Обедали за маленькими столиками; женщины, все похожие друг на друга своими разукрашенными декольте и разрисованными лицами; все они были стройны, утомлены, со слишком большими и слишком беспокойными глазами на овальных лицах, со взбитыми высокими прическами; все старались воспроизвести тип Вилли, — воздушный и утонченный тип конца восемнадцатого века, пущенный в ход антикварами и в конце концов вошедший в моду среди крупных банкиров и знати. В проходах между столикам, беспрестанно выходили и входили, щеголяли великолепными вечерними накидками, шелками и газами, перекликались с одного стола на другой; мужчины самодовольно перемигивались с притворно небрежным видом, афишируя свою скуку, — словом, проделывалась вся обычная комедия роскошного зверинца, который изображает из себя ночной ресторан.

Зачем Клавдий привел меня в этот кабак, зная мою ненависть к свету и к светскости? И, раздраженный всеми

этими минами, этими накрашенными взглядами и улыбками лупанаров, я переносился, по контрасту, в широкие просветы свободной и здоровой жизни третьегоднешнего разговора, к опьянению инстинктами и молодыми цивилизациями среди синевы неба и синевы моря, ко всей мощи и силе солнечного существования; я высказал Эталю все это, — весь этот подъем энергии, который зажег во мне энтузиазм Веллкома. — «Да, я знаю эту песню, — вдруг захотел Клавдий, — Бильбао, Марсель, Барселона, — светлые глаза матросов, мудрость жизни, любовь к деятельности, почерпнутая в больших глазах путешественниц... и в жаргоне носильщиков... Я узнаю во всем этом нашего милого Томаса.

Но он вам не сказал всего.

Кроме примитивных существ и страстей, порождаемых большим приморским городом, его гаванью и верфями, и там, — надо это предвидеть, найдутся исчадия роскоши, подобные этим разряженным чертовкам, присутствие которых терзает вас здесь, — такие же порождения космополитической похоти и цивилизованной скуки.

Об этих людях сэра Томас вам ничего не говорил; он даже не позаботился набросать вам их портрет, ибо он сам принадлежит к их числу, — к шайке пресыщенных искателей невозможного, которые встречаются повсюду, — в Баггии, в Марселе, в Танжере и в Кадиксе, в Тулони и в Бресте, в Гавре и в Каире, влача свои запятнанные и утонченные души сквозь пары опиума так же, как развлекаются в барах и в мюзик-холлах.

Хотите знать их признаки?.. Женщины с силуэтом андроинов, одетые в синие суконные матроски; миллионеры-англичане с обожженными лицами, загорелыми, крепкими затылками, острыми взглядами, — все владельцы или пассажиры больших яхт; армия испорченных, спившихся, странствующих евреев, которых вы знаете не менее меня, ибо вы бывали в Алжире и в Каире; все эти праздношатающиеся, бессловные одиночки, прогуливающие по бурному морю свои измочаленные чувства или стеснительную известность своих пороков.

Ох, — сэр Томас Веллком воображает, что он исцелился; он вам это говорил, не правда ли? Ну, так он вам солгал; он вас обманул, как несчастный одержимый, ибо ни в мечетях Каира, ни в полутемных уголках Туниса, ни в тростниковых хижинах нильских селений, — нигде он не встречал никогда взглядов зеленого кристалла, в надежде обрести который он оставил все, — дорогих существ и закоренелые привычки, часто белее властные, чем сами привязанности; я это знаю от него самого. Мне он не лжет; он не может мне лгать, — и повсюду, в шумных улочках Константины, в мавританских кофейнях Бискры, всюду сирийская богиня, упоительный призрак Востока, Астарта, повсюду его обманывала, повсюду лгала ему, как и он сам лжет, увлеченный преследуемой им ложью.

Я путешествовал с ним годами.

Сколько раз выслеживали мы с ним женщин, закутанных в шелка и покрывала стран Солнца, — арабских и мавританских женщин, отправляющихся в мечеть или в баню и, трепеща, спускающихся по ступеням улочек, тонущих во мраке! Сколько раз мы заглядывали под фату в их продолговатые, томные глаза, полные экстаза, с умоляющим взглядом газели! Когда в них глядишь пристально, то видишь блестящие, жесткие, словно отсвечивающие зрачки птиц, пустые, холодные глаза черного янтаря, ибо все глаза кажутся черными под этими лазурными небесами; но ни одно из существ, встреченных там, близ пирамид Хеопса и в каменистых пустынях Петры, не выполнит обещания Астарты.

Ни Улед-Наиль, ни феллахский погонщик ослов, — никто среди этих животных Востока не сумел показать нам скорбного и жуткого взгляда аквамарина, который Томас искал и ищет до сих пор, хотя воображает себя исцелившимся.

В сущности, он гораздо более опасно болен, чем вы, бедный друг мой!

Сэр Веллком страдает самой худшей из маний и, если я стремился вас с ним познакомить, то именно для того, чтобы вы могли осязательно увидеть вашу болезнь и убедить-

ся, что исцеление не там — но здесь, — где последняя из этих женщин — или первая на ваш вкус, — может вам подарить этот взгляд под впечатлением чувства, которое вы угадываете... О! это, конечно, не желание, не любовь, — вы слишком богаты для того, чтобы их внушать».

— Что же это такое?..

— Я вам скажу это, если вы мне обещаете не уезжать, если вы мне дадите слово не пытаться догнать сэра Томаса Веллкома, от которого вы, держу пари, получите завтра же телеграмму из Ниццы или Марсея... Но это рагу из бекаса остынет; вам известно, милый друг, что бекас не любит ждать.

19 ноября 1898 г. — «Лагор отъезжает во вторник; у вас есть время уложиться. Соберитесь и присоединитесь ко мне в отеле Ноайль. Лагор — лучший пароход товарищества. 5 января мы будем в Сингапуре.

Веллком».

Клавдий верно угадал. Я нашел эту телеграмму, вернувшись домой. Покажу ли я ее Эталю?

20 ноября 1898 г. — «Я это знал». И Клавдий кладет небрежно телеграмму между нашими двумя приборами. Мы сегодня завтракаем вместе и после устриц я не удержался от желания сообщить ему о телеграмме. Он не улыбнулся сардонически, как я ожидал; его триумф был более непринужденен; он попросил у метрдотеля снова римского тмина, ибо он приправляет всю свою еду массой экзотических и странных пряностей, потребовал сельдерея и шафрана, чтобы приготовить в сотейнике какую-то закуску с пряным вкусом, обмакнул в нее деликатно язык и затем внезапно, возвращаясь к беседе: «Итак — вы не уедете?.. Ну, значит — тем лучше! Сэр Томас Веллком имел когда-то в Лондоне очень неприятную историю, и мне было бы досадно услышать, что вы путешествуете с ним. — Как? и вы бы меня пустили?.. — Извините, я бы произвел давление

на ваше намерение, если бы предупредил принятое вами решение. Мы, англичане, умеем абсолютно уважать свободу других; вы могли свободно уехать, и я должен был сохранить вам вашу свободу ненарушимой.

Я мог предупредить вас о бесполезности вашего путешествия, убедив вас на примере самого Томаса в тщетности ваших стараний; Томас солгал вам, похваставшись своим выздоровлением; я имел право опровергнуть его ложь, раз он обратил ее в аргумент; но я не имел права сообщать вам о Веллкоме фактов из его жизни или из его прошлого, которые могли бы, если не отвратить вас от путешествия, то, по крайней мере, заставить вас поколебаться. — Значит, и о нем есть?.. И Клавдий, даже не замечая моего возражения: — «Теперь, когда ваше решение принято, я могу вам рассказать то, что называют в Лондоне несчастной авантюрой сэра Веллкома, и рассказать об опасности, которой вы избежали. — Опасность! и вы бы меня не предупредили! Вы бы позволили мне с веселым сердцем бежать ей навстречу!... — Разумеется! От судьбы не убежишь. К тому же, разве вы этого не заслужили вашим недостатком доверия ко мне? — Но это была бы измена!.. — Меньшая, чем ваша, — раз я вам обещал исцеление, а вы захотели переменить врача. — А история Томаса, несчастная авантюра сэра Веллкома, как вы ее называете, в Лондоне? — Ах, что за нетерпение! Успокойтесь. Я не буду так наивен, чтобы вам ее рассказать. Вы можете подозревать, что я сочинил ее как раз на этот случай, *testis unus, testis nullus*. Я заставлю одного из моих компатриотов, сэра Гарри Мура, ее вам подробно рассказать — Мура, тренировщика в «Мезон-Лаффите». Мы застанем его, наверное, сегодня вечером в пять часов в Теттерзале или около полуночи в баре на улице Обер... Бесполезно настаивать, я вам ничего не скажу. Вы можете мне не поверить. Позвольте мне вас, однако, поздравить с тем, что вы устояли против меланхолического красноречия больших глаз Томаса: у них репутация непобедимых. — Что вы хотите сказать? — Ничего. Гарри Мур вам объяснит. Хотите пока — до пяти часов — пройти к Жанне де Морель?.. — К Жанне де Морель? — Да, на ули-

цу Вашингтон, 62. Я получил сегодня утром извещение: прибыла целая партия провинциалок, настоящих девственниц, между прочим, одна девочка из Байонны.

Эти испанки отличаются чистотой форм и редкой элегантностью на парижском рынке: к тому же, у жителей Пиренеев иногда встречаются изумительные глаза, глаза, в которых отразились воды холодных зеленых горных ручьев. Среди янтарного лица, такого рода глаза изумительно блестят; к тому же, эти провинциалочки, которые еще не освоились со своим ремеслом, часто очень мило пугаются, трепещут, словно пойманные лани. Это — целые гаммы ощущений; а когда умеешь вызвать в них испуг и изумление, получают очень милые взгляды... Ведь страх, это — такая едкая приправа к сладострастию, — такая нервная сила».

## ПРИЗРАК ИЗЕ

25 ноября. — Мы провели скучнейший и отвратительный день у этой Жанны де Морель, затем омерзительный вечер в «Мулен-Руж» и еще гнуснейшие часа полтора в английском баре с этим апоплектиком-гигантом Гарри Муром, слушая его низкие разоблачения о сэре Томасе Веллком... Сэр Томас Веллком! Один из тех немногих, выразивших ко мне симпатию, — по правде сказать, единственный человек, к которому я чувствую влечение.

Можно подумать, что этому Эталю доставляет удовольствие подавлять во мне всякую энергию, уничтожать всякую иллюзию. И как только они у меня еще остаются — после стольких моральных и физических опустошений!

В обществе этого Англичанина я чувствую, как погружаюсь в грязь и мрак, — зыбкую, засасывающую тину моего кошмара во время курения опиума; кажется, что воздух разрежается, слушая его, а его ужасные излияния возбуждают во мне только самые низменные инстинкты. Ах, этот Клавдий!

Он как бы вносит с собою повсюду смрадную атмосферу; не найдешь названия его инсинуациям и нашептываниям. Этот человек должен был меня исцелить! Он нашел способы еще увеличить мои душевные муки. Душевные муки герцога де Френеза, — какая жалость! Но тем не менее я чувствую себя увязшим в какой-то тепловатой и пахучей тине, в нежных, но все же цепких когтях этого человека со взглядом ястреба!

О! беспокойные взгляды его разноцветных глаз из-под перепончатых век! Казалось, что его зрачки все время усмеваются. И любезное, такое властное пожатие его пальцев, украшенных громадными бриллиантами! И его гнусная волосатая грудь, широкая, как у носильщика, которую он обнаружил у Жанны де Морель, расстегнув сорочку, ибо он расположился как следует позабавиться с девочками. Я еще спрашиваю себя — как я не задушил его, настолько его на-

хальство и гнусные замашки возмутили меня. В этот день он дохнул на мои последние предрассудки и на мои последние воспоминания болотной заразой и под этим отравленным дыханием — все завяло, поблекло... Как я ненавижу его за то, что он так очернил предо мною сэра Томаса Веллкома! Этого — я чувствую — я ему не прощу. О! этот день, придуманный им для того, чтобы вырвать в моей душе последние ростки, — я не забуду никогда этого дня, ибо он убил во мне последнюю оставшуюся детскую веру!

Теперь я обьят какой-то ужасающей, беспредельной тоской, и с этого дня я начал спускаться куда-то в мрак, в неизвестность, в какое-то болото, чувствуя величайшее отвращение ко всем и к самому себе.

*2 декабря 1898 г.* — Да, чем более я размышляю, тем более убеждаюсь, что ужасный день 20 ноября был придуман, изобретен им, и встреча с Изе Краниль в доме сводни была им подстроена. Он знает, что мне нравилась эта женщина, что я желал ее три дня — желание, которое она с неуклюжестью кобылицы растоптала в самом зародыше, но все же образ ее оставался пленительным в моей памяти.

Надо же было мне встретить ее в этом доме свиданий, — ее, Изе, докатившуюся до таксы в десять золотых и того меньше; она сделалась обычной клиенткой Жанны де Морель, поставщицы женатым рантьерам, у которых случается свободный часок после Биржи, и знатым иностранцам с улицы Вашингтон! О! как защемило у меня сердце (значит, оно у меня еще есть!), как пробежали у меня по спине мурашки, когда в этом будуаре с закрытыми ставнями, где кривляющиеся и накрашенные подростки имитировали гнусности, я услышал из соседней комнаты взрывы раскатистого, щекочущего смеха Изе! Как резко оттолкнул я четырнадцатилетнюю девчонку (по всей вероятности — восемнадцатилетнюю), лениво ерзавшую по моим коленям, выразительно ощупывая мой бумажник! О! как неуклюжи были эти поддельные невинности, как несло мускусом от локончиков этих ягнят мадам де Морель! Изе Краниль была здесь!

Я нажал электрическую кнопку: Морелиха прибежала, расплываясь в улыбке, под сложным сооружением своей куафюры. — «Даму в соседней комнате!» Голос мой звучал так хрипло, что я сам удивился ему. «— Даму в соседней комнате? — Она свободна. Господин ушли, они не сошлись: эта Изе — такая причудница!.. (и Морелиха спохватилась, словно сказала слишком много). Вы ее знаете? — Да, старая знакомая... Я хочу ее повидать, поговорить с нею. — Но без сцен ревности, надеюсь». Я пожал плечами. Тогда Морелиха: «— Надо мне ее спросить. — Ну же, — пусть его, — вмешался Эталь, отбиваясь от двух девчонок, повисших на нем, словно две козы на лозах бога Терма. — Но ведь это — двадцать пять золотых, — возразила боязливо мадам. — Изе Краниль...» Двадцать пять золотых — я дал их матроне. Клавдий заплатил за шампанское девчонок и мы последовали за гриперлевым муаровым тренем Жанны.

Изе Краниль сидела, скрестив ноги на диване, прислонившись к подушкам, она курила восточный табак: рубашка на плечах ее соскользнула, обнажив жемчужные плечи. Эти полные и влажные плечи белели в полумраке — занавесы на окнах были спущены. В комнате стоял невыносимо прелый и тяжелый воздух; уже на пороге я пришел в раздражение, — охваченный запахом, который я уже вдыхал один раз в уборной Изе. Краниль была в нижней юбке и в корсете.

— Ах, это вы! — сказала она, не обращая внимания на Морель, возвестившую, облизывая свои крашенные губы: — Изе, два господина — твоих знакомых.

— Ах, это вы, — какими судьбами! вот встреча! садитесь. Вы, значит — кутите! В этот час, по своей доброй воле! Ну и развратники же вы! Значит, там, в комнатке, не выгорело? Морелиха хотела вам подсунуть своих крошек, южанок, прогуливающих по Рошешуару. В «Фоли-Бержер» им натянули нос. Вы никогда не заглядываете в эти кварталы, вам и выдают их за невинности. Вид у вас приличный; значит, там не сошлись? это — как со мной. Вот болван! Захотел, чтобы я одела мой костюм из *Принцессы Ангоры*,

и все мои бриллианты и еще, пожалуй... — А это — чем плохо?— спрашиваю я, показывая ему мои окорока».

И Изе звонко пошлепала себя по бедрам и продолжала изрыгать поток гнусностей... До чего она опустилась! В каких трущобах заимствовала она эту хрипоту голоса и мещанскую мимику?

Я знал ее как звезду шантанов, а теперь это была самая низкопробная девка. Я был поражен; лучезарное видение того вечера, — Саломея, трепещущая от возбуждения и косметики в «Фоли-Пластик» — упала в лужу. — У тебя все еще твои прекрасные кольца? — сказала она, беря меня за руку. — А ты, — загоготал Эталь, — покажи — все ли ты еще такая хорошенькая?. И он взял ее за подбородок, закинул ей голову назад, чтобы посмотреть ее зубы. Жанна де Морель встала и зажгла свечи.

Изе Краниль была все еще хороша. На ее лице, широко у висков, суживающимся книзу, подобно маске нимфы, сверкали ее великколепные агатовые глаза, — огромные глаза с эмалевыми белками, где вспыхивали серые и зеленые лучи, — знаменитые глаза, которые «созерцали море»; но теперь лицо ее было овеяно выражением бесконечной усталости и скуки; улыбка маленького рта казалась натянутой, несмотря на старание подобрать губы. Краниль казалась опустившейся, надломленной кутежами и ужасной жизнью, до которой она дошла. Она казалась вся огрубевшей, как и ее голос. Как она овульгарилась! Я рассматривал ее с тоской. — Что это такое? — воскликнул я вдруг, указывая на испещрявшие ее грудь багровые пятна. Можно было подумать, что это были ушибы, следы ногтей и даже синяки с запекшимся кровоподтеком. — Что это такое? — спросил я в ужасе. — Тебя били? — Нет, ласкали. Я с греком... — Вот так животное! — воскликнул Эталь. — Тебя поколотили. Ты, должно быть, здорово с нее дерешь, что он тебя так разделяет! — Тогда она с плутовской усмешкой: — А это, по-вашему — мужичьи шутки? — сказала она, показывая с гордостью три красных пятнышка на левой груди. — Это? — возразил Клавдий, с любопытством наклонившись к телу Изе. — Да тебе, дочь моя, надо полечиться. — И

этот чудовищный Эталь выпалил слово, не стесняясь. — Пакостник! — воскликнула танцовщица. — Это каприз — за каждое пятно по двадцать пять золотых; с тем, которое у меня на спине — это стоило две тысячи набобу, который на это пошел: это ожог папироской. — Как! находятся мужчины, забавляющиеся тем, что жгут женщин? Портить такую красотку! Да с какими свиньями ты водишься? — Надо жить, — заключила Изе цинично. — К тому же, у каждого свои страстишки, не правда ли, милый? И она бесстыдно подмигивала, посматривая на меня; рука ее исподтишка ласкала мой затылок ловкими искусными пальцами: я отстранился с омерзением: — Двадцать пять золотых за ожог! Больно это? — Привыкаешь. — Двадцать пять золотых! Мне хочется попробовать. Ты позволишь? — И этот отвратительный Эталь сделал вид, что зажигает папироску. — Это, Клавдий, я вам запрещаю. Пойдемте — с меня довольно. — Я схватил его за руку и увел насильно, оставив пятьдесят золотых Изе. — По прежнему — не в своем уме... — заключила она, подхватив деньги. — Эй, мадам Морель, — соды и немножко эфира.

На улице шел дождь, стояли лужи грязи: в тумане еле мерцали жалкие газовые фонари, тротуары блестели и прохожие ворчливо убегали от проституток, подстерегавших их на углах улиц.

Был час, когда Париж загорается... все подонки города устремляются к разврату, а у меня вся эта грязь была в сердце.

Мы пообедали в ресторане. Вечером мы совершили гнусный обход всех кабаков Монмартра, вкусили всех этих, сотни раз слышанных кладбищенских острот, всех этих гнусных увеселений и в конце концов очутились в «Мулен-Руже».

Убогие проститутки, изглоданные анемией — мрачным и нищенским пороком, в жалких шелковых отрепьях, и болваны, гнусно возбужденные возле сомнительных юбок, задираемых профессионалками; весь позор убогой похоти, вываливаемой в определенные часы, чтобы разогнать скуку приказчиков и мещан. И Эталь воображает, что здесь я

могу встретить «взгляд». Повсюду призрак Изе преследовал меня; во всех встречавшихся женщинах я видел ту же мрачную и утомленную скуку; они отпускали мимоходом такие же гнусности, чтобы расшевелить мужчин — то же распутство было в голосе и в движениях.

«Коровы, коровы», — как их называет художник Фори. Стоило нам крутиться весь вечер, чтобы встретить его в десять часов в каком-то кабачке, — не то Неба, не то Убийц!

А на улице все падал дождь, — потоки дождя, плакавшие и над городом и в моем сердце — стоял повсюду отвратительный запах мокрой псины; на внешних бульварах сторожили злосчастные проститутки в загрязненных юбках, а за стеклами винных лавок виднелись сигары их сутенеров. И это Париж — веселящийся, — роскошный Париж, воспеваемый поэтами Монмартра!

Наконец, в половине первого — венец всей этой Голгофы, обещанная встреча с Гарри Муром, тренировщиком «Мезон-Лаффита», в баре на улице Обер, шатание вокруг прилавка, острая и едкая отравка коктейля, а за джином гнусные рассказы этого букмекера, старавшегося оплевать сэра Томаса Веллкома; громко хохоча, он старался убить, раздавить раздавить в моей памяти меланхолический, прекрасный образ Томаса, подобно тому, как в течение дня этот гнусный Эталь разрушил во мне призрак Изе.

Изе, сделавшаяся приманкой домов свидания, и Томас Веллком, достойный каторжных работ... Воистину, это был день привидений!

## СЛОАСА МАХИМА

Здесь шли пропуски, числа были произвольно или нарочно изменены, почерк менялся, — во всей рукописи замечался какой-то беспорядок, очевидно, автор ее был болен, выбит из колеи.

*Январь 1899.* — Присутствовал на премьере. Это было великое позорище, — выставка в ложах всех доспехов-бриллиантов, добытых путем проституции или подозрительных афер... Присутствовали все прославленные развратницы, разодетые в свои парадные платья, искусно размалеванные, в застывших позах, с застывшими улыбками, похожие на триумфальных идолов, под сверкающими ожережьями и поддельным золотом крашенных волос; все они имели рядом с собою какую-нибудь знаменитость — политическую или литературную — будущего академика или кандидата в министры, горделиво афишируя в качестве мужей или любовников, — сами бывшие модные проститутки, — людей в почете, ибо теперь на таких женятся.

В бенуаре, в партере, сидели разряженные в воздушные наряды актрисы маленьких театров и модные профессионалки, хрупкие и подвижные — типа Краниль и Вилли, моденки с маленькими головками под тяжелыми прическами; большинство из них, походившие на развязных пажей очертаньями задорных и нежных профилей, распространяли властное и развратное очарование... На них глаза мужчины с бурыми лицами, еще более оттененными фарфоровой белизной их пластронов; усмешка кривила их дряблые губы, походка носила следы развинченного утомления, глаза смотрели вяло и некрасиво: все следы кутежей. Затем следовали желчные физиономии критиков, — косые взгляды авгуров, молчаливо обсуждающих пьесу, и все гнусные «милые собратья», и дружеские пожатия рук, — организованный заговор кулуаров.

Хотя я присутствовал сотни раз на этом зрелище, но никогда еще не отмечал с такой беспощадностью уродства масок! Никогда еще сквозь лживость ароматов и румян мои ноздри не различали так беспощадно ужасный запах расположения театрального зала. Я знал пороки и недостатки, скандалы и убожества всех этих мужчин и женщин в ложах, так же как и они знали мою несчастную жизнь и гнусные сплетни, нашептываемые вместе с моим именем.

Да и не сошлись ли мы здесь, чтобы цинично афишировать и выставить каждый свою жуирующую особу, нашу прекрасную бульварную известность, сотканную из вчерашних позорищ и завтрашних банкротств? И, по движению наведенного на меня лорнета, по оттенку улыбки слушающей дамы, я угадывал мое произносимое имя и следующие за тем сплетни...

В ложе на авансцене сидел толстый Найдерберг, обогатившийся посредством десяти банкротств, — Найдерберг, биржевые операции которого оплачивали покупку вилл в Каннах и отелей в Швейцарии, — Найдерберг, весь раздувшийся от нездоровой тучности, со своим лицом прокаженного и манерами карфагенского правителя; затем, в следующей ложе сидели три брата Гельмана, похожие на скелеты птиц, со своими высокими плечами, тощими туловищами, впалыми грудями и мордами золотопромышленников, — тонкие губы, еще более тонкие носы и еще более узкие глаза, сверкающие металлическим блеском из-под их моргающих век, все трое — банкиры, сообща содержащие красавицу Конхиту Меррен, выделяющуюся, словно белая камелия, на фоне их трех черных фраков; затем Мешерод, тоже банкир, венец, изгнанный из Вены, крикливо афиширующий эту бедняжку Нелли Фернейль, служащую ему ширмой; его девиз, заимствованный у префектуры и повторяемый в домах свиданий, гласит: «Не мешайте детям приходиться ко мне». — Все они, конечно, евреи, но натурализованные французы, космополиты и хозяева Парижа.

Затем следовали политиканы в ложах административные и семитских муз, политиканы, у которых существует такса на реформы или на воздержание от них, важные

журналисты, которые за пятьдесят золотых похвалят или замолчат пьесу, и злонамеренные, которые все равно ее очернят, ибо дирекция возвратила им рукопись или звезда труппы отвергла приглашение ужинать, если не был приложен чековый билет.

Среди толпы я увидел стройного, затянутого во фрак с шелковыми отворотами, красавца Буа-Эвра, эксплуатирующего содержанок и дерущегося ради них по мере надобности; Марсоне, художника, женившегося на своей любовнице, не сообразив, что состояние Нины Марбеф после ее смерти должно было перейти к трем детям, которым она была обязана барону Гарнейму; Дестиллье, издателя исключительно дрейфусарских произведений, и Доримо, его собрата, издающего только националистов; оба они выпускают, кроме того, один — книги Жиц, ибо это доходно, другой — памфлеты Ажалльберта, ибо — памфлет за границей кормит; здесь были налицо все лицемерия и все наглости, все достопочтенные с виду, но с трещинами внутри, начиная с тех, которые женились на внебрачных дочерях, получивших в приданое миллионы своих отцов, которых они за это держать на задворках, кончая Сен-Фенассом, мошенничающим на скачках с лошадьми своего брата, и Марфорадом, поэтом-анархистом, на жаловании у Фрейнака, упрекающим Мореза в том, что он в Военной школе кричит о любви к армии, а сам живет в связи с массажистом. Здесь, ради премьерши театра, этой восхитительной, хрупкой Евы Линер, с ее огромными глазами, подобными глазам ангелов Гоццоли, — испуганными, дикими, многообещающими, так не вяжущимися с ее мальчишеским личиком, — собрался весь Лесбос, присутствующей на премьерах, — все «осужденные», привлекаемые на эти спектакли пряными чарами переряженных профессионалок; и, сверкающая своей полной белизной блондинки, прекрасная ирландка Мод Уайт в ложе старухи герцогини Альторнейшир, той, что была на вечере Эталя и которая теперь более, чем когда-либо, была намалевана и более, чем когда-либо, была похожа на привидение, вся в какой-то жемчужной брони,

бросавшей зеленоватый отблеск на ее дряхлую кожу; старуха Альторнейшир была в компании брата и сестры.

В бенуаре виднелась толстая шея маркизы Найдорф и рядом с нею расплывшаяся фигура Ольги Мирянинской: славянка и сицилианка, связанные общностью вкусов, присутствовали здесь ради шаловливой фигурки и худенького личика Евы Линьер, бросавшей вызов эфебизму в Полиевкте «Орестей».

Уж эта Ева! не ради ли нее и Мюзарет, стройный и изысканный поэт-аристократ, выгибал в корселе свой стан, словно затянутый в корсет, вытягивал свое сморщенное и беспокойное личико... Его сопровождал Делабар, композитор, сводящий всех с ума; два врага заключили мир, сойдясь на двусмысленном и опьяняющем поклонении актрисе.

Я узнал также здесь всех изысканных и вылощенных англичан, присутствовавших на вечере Клавдия. Они были рассеяны по зале, но их легко было узнать по их отяжелевшим и вылизанным лицам, словно вытянутым к тяжелым челюстям; они тоже все приобщились к новой религии, и вся зала словно праздновала обряд, при котором тоненькие ножки актрисы держали всех этих мужчин и женщин в напряжении и ожидании злключения с ее трико.

И при виде всех этих зрителей со свинными рылами и зрительниц с искривленными физиономиями злых духов, мне вспомнился этот ужасный и беспощадный офорт Ропса, где Похоть, властвующая над миром, олицетворена в чертах скелета, увенчанного цветами, скелета почти соблазнительного, ибо из-под позвонков торса вырастает мясистый круп и две округленные ноги, подобно ногам статуи или танцовщицы, обнимающие бедра в виде прекрасного плода.

Видение продолжало меня преследовать, и актриса на сцене начала мне казаться скелетом с мертвой головой, выступающей из-под ее лица, и только ноги и бедра ее оставались плотскими и ритмичными. Я почувствовал, что меня объял ужас перед этим призраком, на котором концентрировались пустые и безумные взоры целой залы ма-

сок. В левую ложу авансены вошла женщина, и все взгляды, все лорнеты обратились на нее, я также бессознательно подчинился магнетической волне и направил глаза на пришедшую. Это была высокая и стройная молодая женщина, чрезвычайно бледная, в восхитительном бледно-голубом туалете, еще усиливавшем ее бледность!

Бледная какой-то жертвенной бледностью, с тонким овалом лица с тоскующим и умным выражением и словно расширенными глазами, темно-синими, почти черными, с огромной синевой вокруг, это хрупкое и странное существо олицетворяло в себе духовную красоту двадцатого века. Где я уже видел этот тонкий нос с подвижными трепещущими ноздрями, и эту вздымающуюся плоскую грудь, эту чересчур тонкую талию под легкими перьями опახала, эту улыбку, разрезающую эмаль зубов между пурпуром губ?

Взоры всех пожирали эту бледность, — похотливость всей этой залы упивалась любовным напитком этой лихорадочной и агонической красоты. Во взглядах и в улыбках загорелось то самое пламя возбуждения, которым только что приветствовали появление актрисы на сцене, а минутой раньше подчеркивали развалистую походку и смелые жесты трагедии.

Господин и дама сопровождали существо в бледно-голубом платье; в мужчине я узнал мужа, светского писателя, не менее, но и не более талантливого, чем профессионалы этого ремесла. Женщина была княгиня де Сейриман-Фрилез, американка, архи-миллионерша, принятая в обществе благодаря своему приданому, энергичное и страстное лицо которой уже было замечено мною в мастерской Этэля.

«Красавица мадам Сталис с княгиней де Сейриман... Значит, — она тоже?»

Все андрогинные в зале навели свои лорнеты на авансцену и разбирали американку с ее новой подружкой, одни восхищаясь, другие браня их, все ужаленные одним и тем же желанием, одной и той же истерикой; мужчины также лорнировали и улыбались, поняв, в чем дело.

На сцене Ева Линьер продолжала показывать свое сложение юного пажа — в трико лилового цвета с серебряными звездами опереточного Ореста, гречанки с Монмартра.

— Все шествуют, все и вся, — загоготал над моим ухом Эталь, о присутствии которого я совершенно позабыл, поглощенный зрелищем окружающего спектакля и навеянных им видений, — все и вся, как на афише.

«Шествие Парижа», так называлась пьеса, — идиотское обозрение, все состоящее из декораций и оголенных женщин.

— В самом деле, — обратите внимание, Ева Линьер, или эта маленькая мадам Сталис, это — тот же тип хрупкой и чахоточной красоты, то же очарование хлороза и болезненной пряности, Венера с Пер-Лашеза, тела венецианского хрусталя, очаровывающие своей хрупкостью, зажигающей торопливую животность дельцов, ажиотеров и выскочек.

Этим выскочкам вчерашнего дня нужна игривая утонченность вырождающейся расы; ощущение обостряется в десять раз при мысли, что они разрушают очаровательности герцогинь или девственниц: разметывая золото, они также сокрушают тела, будоражат мир и срывают лилии...

Мы, — утонченники, — чувствуем повсюду здесь запах трупов. Впрочем, не нужно увлекаться; я знаком с восхитительной дамой в ложе авансены. Мадам Сталис обладает хорошим здоровьем, Ева Линьер также. Эта бледность, эта томность движений, этот лихорадочный блеск глаз и губ — намеренные личины. Посредством душа, больничного режима, хождения утром и долгих часов лежания днем в кресле, достигают эти Серафиты премьер и этот кривляющийся эфеб этого очаровательного и химерического образа.

Изысканная красота мадам Сталис обуславливает собой талант ее мужа, таскающего по всем салонам этот образец редкого цветка; культивируемая чахоточность маленькой Евы возбуждает посетителей и приносит учреждению барыш. Публика недаром платит свои денежки, и вое обделывают свои делишки. Посмотрите на эту залу, обезумевшую от этих двух худышек! Где у анархистов разум, когда они кла-

дут свои бомбы в кафе или на железнодорожных станциях!

Видите вы этот букет в зале! Разве не готовы все и вся здесь для финальной бойни! А у вас еще какой-то стыд, какая-то застенчивость, какое-то смущение! Говоря откровенно, — вы очень отстали, мой милый!

Посмотрите, — разве мы не в Риме!

## МИЛЛИОНЫ СЭРА ТОМАСА

Третьего дня, вечером, беседуя интимно с глазу на глаз с Эталем, в тишине его мастерской, я заставил его подробно рассказать о таинственной смерти господина де Бердеса, в которой был так странно скомпрометирован сэр Томас Веллком; на другой же день перед ним закрылись двери всех лондонских клубов и теперь он прогуливает по Азии миллионы господина де Бердеса и свою навсегда запятнанную репутацию.

В этом баре, куда Клавдий затащил меня ночью в прошлом месяце, чтобы выслушать историю от Гарри Мура, мы не смогли извлечь из толстого тренировщика ничего, кроме отрывочных фраз пьяного человека, бесстыдных глупостей, прерываемых иканием и саксонскими ругательствами. Этот пьяница-апоплектик оплевал Томаса, не задев его, и изрыгнутые им гнусности насчет Веллкома омрачили мое воображение, но не уничтожили в моей памяти меланхолический и благородный образ ирландца. Нелепости этого пьяного букмекера возбудили только во мне недоверие, увеличив мое сожаление — зачем я не последовал за Томасом в его поездку в Индию; ибо ничего определенного этот гнусный Гарри Мур мне не сообщил.

Господин де Бердес был найден убитым в домике в окрестностях Лондона, куда Веллком имел обыкновение наезжать и где они вдвоем и еще с другими прочими встречались, как говорят, для того, чтобы предаваться служению неведомому культу, вывезенному с крайнего Востока господином де Бердесом.

Этот чудака возымел претензию возвестить миру новую религию. и юный Веллком, тогда еще в расцвете своих двадцати трех лет, был не только одним из последователей и любимым учеником оригинального инициатора культа, но и также его наследником; и когда в одно утро господин де Бердес был найден удушенным в капище в Вульвиче, сэр Томас Веллком оказался наследником десяти миллионов...

Правда, молодой ирландец провел эту ночь в клубе и блестящее алиби устранило всякое подозрение, но трагическая смерть господина де Бердеса тем не менее сделала его, двадцатичетырехлетнего юношу, обладателем одного из самых больших состояний Трех Королевств; и этого было достаточно, чтобы, ссылаясь на знаменитую теорию преступления *cui prodest*, все общество жестоко восстало против юного миллионера. Он был разом исключен из всех клубов и салонов.

Однако, убийцу мосье де Бердеса обнаружить не удалось. Я говорю «мосье», ибо, англичанин или скорее голландец по происхождению, житель Лондона в течение нескольких лет, де Бердес возымел эту оригинальность натурализоваться французом и этот выбор национальности навлек на него всеобщее презрение Лондона. Но празднества, которые он давал три раза в год в Черинг-Кроссе, и его эксцентричность основателя религии, импонировали ему, несмотря ни на что, в глазах спесивого великосветского общества, преклоняющегося пред чванливостью и яркими индивидуальностями. Англичанин больше всего уважает свободу другого: всякое проявление энергии и личности неизменно нравится ему, удовлетворяя его вкус к независимости, присущей этой расе, и первое свойство англичанина — презирать идеи и нравы, принятые в других странах; но вполне англичанин только тот, который выделяется и отличается от других афишируемыми чудачествами и личной заносчивостью.

Господин де Бердес олицетворял все эти условия, необходимые для того, чтобы возбуждать и даже сохранять симпатии Лондона, хотя и натурализовался французом; но позволить себя убить и сразу сделать миллионером нищего ирландца, к тому же компрометирующего своей красотой греческого пастушка... Лондонское общество заставило Веллкома дорого заплатить за скандал неожиданного наследства и загадочной смерти; английское лицемерие, терпевшее ученика господина де Бердеса, отказалось признать его наследником... Томас Веллком должен был отправить-

ся в путешествие. Путешествия — это добровольное изгнание. Отныне — он всегда будет путешествовать.

И, не слишком настаивая на своих инсинуациях, но с кошачьим искусством пользуясь недомолвками и опасными гипотезами, целой сложной наукой теории вероятий, Эталь, сеятель подозрений, Эталь своей монотонной, медлительной, отрывистой речью продолжал повергать меня в ужас, убивая во мне последние иллюзии.

Теперь он рассказывал подробности об этом господине де Бердесе и о домике, где совершилось преступление; и этот рассказ доставлял художнику какое-то странное удовольствие.

Только что разбуженным сонливцем казался этот голландский барин, постоянно одурелый от опиума; казалось, что в его стеклянных глазах и в бескровном лице сосредоточилась вся гнетущая летаргия восточных отрав...

В последнее время своей жизни этот де Бердес боролся с безумными приступами сонливости посредством бешеной ходьбы, длившейся глубоко за полночь, вдоль набережных Темзы, по пустынным улицам Вест-Энда и даже Уайтчепеля, — самым опасным по своей уединенности кварталам. Клавдий хорошо знал их и когда чудаку доказывали опасность его ночных прогулок, Бердес отвечал, пожимая плечами: «Я видел столько других опасностей на Востоке, что со мною ничего не может случиться. К тому же, мне нравятся трущобы, зловещий вид реки после полуночи и пустыньность этих набережных, этих улиц». И, с огоньками в глазах, он рассказывал почти влюбленно о свете фонаря, о перекрестке подозрительной улицы, об экипаже, застрявшем на горе и отражающемся в воде; затем он спохватывался, точно рассказал слишком много, и его красноречивое мрачное молчание говорило больше всяких слов.

Этот де Бердес страстно любил тишину и ночь!

Не во время ли одной из этих опасных прогулок сделался де Бердес жертвой какого-либо ночного нападения? Или предательство одного из последователей новой религии, наоборот, открыло двери павильона в Вульвиче неиз-

вестным убийцам? Но тайна, окружавшая его жизнь, еще более стусилась с его смертью.

Это была загадочная и трагическая смерть, похожая на преступление и превосходившая таковое... Во всяком случае, убийство было совершено человеком, отлично знавшим привычки и жизнь жертвы, ибо господин де Бердес был убит во время своего служения, ночью, когда он находился в маленьком домике и не спал, выполняя какой-то обряд... с кем? один?

«Поспешно уведомленный Томасом Веллкомом, я отправился с ним в часовню. Полиция была уже там, но не решилась изменить положения трупа... Я никогда не бывал раньше в знаменитом павильоне; никакого беспорядка не замечалось в вестибюле и двух комнатах, которые мы сначала прошли: они были украшены огромными фаянсовыми павлинами на фоне стен, окрашенных в золотистый цвет. Третья комната обращала на себя внимание: Томас, пораженный, остановился на пороге!

Эта комната! Я вижу ее сейчас, словно это было вчера. Она была украшена гобеленом Людовика XIV, изображавшим сад с колоннадами и террасами и в нем воинов, одетых в римские доспехи, и богинь в древних туниках; но ткань странно вылиняла, — лица и тела потемнели, небо сделалось рыжим, фонтаны сизыми и уже то были не нимфы и боги, а демоны с лицами негров, устремившие на вас белые глаза.

Очень низкая постель, очень широкая (в этой часовне спали?) простирала почти до земли свой лиловый шелковый полог, затканый золотыми цветами; в ногах возвышался чудовищный Будда; он отражался в зеркале стиля Империи. Постель была прибрана, пахло ладаном и бензоем, горел турецкий ночник.

В комнате находились два полицейских; один из них приподнял полог.

На целой гряде подушек, среди бледно-розовых шелковых покрывал, лежал де Бердес. На нем был вечерний костюм; в петлице огромный белый ирис; он упал навзничь, колени выше туловища, и бескровное лицо его с уже

вытянувшимися ноздрями запрокинулось набок, выставив вперед челюсти и кадык.

Его опрокинули, должно быть, со страшной силой, но одежда даже не смялась; только слегка разошелся на груди пластрон сорочки. Одна из его сжатых рук сжимала серебряную цепочку чудесной кадилъницы. Ни одной капли крови: только на шее, где кожа особенно нежна и белая, виднелся багровый кровоподтек, уже пожелтевший, словно укус или след длительного поцелуя.

Возле трупа сильно пахло ароматами соседней комнаты; к этому запаху примешивался еще запах сандала и перца; из кадилъницы еще отделялся едва заметный синеватый дымок.

Среди каких действий, — каких обрядов неведомой религии — застала смерть де Бердеса? В серебряной вазе мрачно возвышался огромный сноп черных ирисов и красных антирринумов; на маленьком индийском жертвеннике, заставленном стеклянными чашами и золотыми дароносителями, стояла странного вида статуэтка: какая-то богиня-андрогин с тонкими руками, пышным торсом, округленными бедрами, — демонически-очаровательная, из цельного черного оникса. Она была абсолютно обнажена.

Вместо глаз у нее сверкали две инкрустации изумрудов; но между веретенообразных бедер, внизу живота, угрожая, скалила зубы маленькая мертвая голова».

## БЕЗДНА

В мастерской, где монотонный, медлительный голос вызывал образ маленькой ониксовой Астарты, бесстрастной соучастницы вульвичского преступления, ступил таинственный полумрак, подобный загадочной основе рассказа Эталь. И так — Томас Веллком совершил преступление. Загадка его очарования, быть может, и заключалась в его преступности... Атмосфера ужаса и красоты окружает человека, совершившего убийство, и глаза великих убийц пронзают века своими навязчивыми взглядами, придающими род сияния их лицам; и трупы служат лучшим пьедесталом для героев.

И Смерть, и Красота, они равно глубоки,  
Они равно ясны над темной глубиной,  
Как две сестры, они и щедры и жестоки,  
С одной загадкою и с тайною одной.

*Виктор Гюго.*

Все эти кровавые мысли, — даже строки этого четверостишия, Эталь внушал, не произнося их. Теперь, когда он молчал, я догадывался, что моя безрассудная симпатия к Томасу относилась главным образом к таящемуся в нем убийце; меланхолия этого прекрасного лица, такого энергичного и вместе с тем такого кроткого, выражала одновременно и сожаление об убийстве, и, кто знает? может быть, желание убить еще. Кровожадность, пожалуй, самая благородная из страстей, потому что каждое существо, живущее инстинктом, можно считать за убийцу. Борьба за любовь, борьба за существование требуют уничтожения одними других, и не сказал ли сам Йегова: «По трупам, которыми усеян мой путь, познаете вы, что я Господь»?

Чьи-то мрачные уста шептали мне на ухо все эти внушения смерти, мрачные уста, — быть может, уста символи-

ческого черепа маленького финикийского идола.

Да, Томас Веллком был человек инстинкта и в этом заключалось все могущество его очарования. Инстинкты! не восхвалял ли он мне их целительную силу во время своей пламенной речи, когда, убежденный в своем красноречии, он развивал мне свою теорию радости жизни, находимой единственно в случайностях, и упоения ощущениями в поисках неведомого?

Эту деятельную жизнь создало ему убийство человека, предоставившее в его распоряжение миллионы, и труп он был обязан тем, что смог устроить свою жизнь по-своему. Но избавился ли он от угрызений совести?

Что это были за преследующие его зеленоватые, также терзавшие его глаза? И мания этих отрубленных голов? Кошмар феллаха, убитого на берегах Нила? И эта страсть к уединенным прогулкам на окраинах города по ночам? Унаследовал ли он их от господина де Бердеса? Или то была скорее мания преступника, бессознательно влекомого к условиям преступления?

Эталь молчал, но я чувствовал его взгляд, устремленный на меня, и мне казалось, что в мой возбужденный мозг вонзилось холодное острие буравчика. Это его гнусный ум населил мое воображение кровавыми идеями: красные лярвы убийства после зеленых лярв опиума! Этот человек был, конечно, отравителем, каким мне его изобразил Томас! Человек, который должен был меня исцелить, только усиливал мою болезнь, и желание задушить его, уже являвшееся у меня, сводило мне бессознательно судорогой пальцы и горячило кровь в моих руках.

Эталь первым нарушил молчание:

— Вам бы следовало побывать в музее Гюстава Моро, вы знаете, он завещал государству свой частный музей; глаза некоторых его героев научат вас многому; вас поразит смелость его символов.

И он встал, чтобы проводить меня.

Он взял факел. У двери он поднял его и обратил мое внимание на стеклянный ящик, покрытый зеленой саржей, где покоилась его восковая кукла: «Лейденская диковин-

ка», как он ее называл, роскошная и хрупкая вещица, изваянная из раскрашенного воска и разряженная в старинную парчу, за непризнание которой он так упрекал меня. Он слегка отогнул материю и, указывая мне на куклу, неподвижную в своей мишуре трутного цвета, с ее желтыми волосами некрученого шелка, падавшими из-под жемчужного чепчика, процедил с полуласковой и двусмысленной улыбкой: «Вот моя богиня. Моя одета в рубища веков, но под ее одеждой не скалит зубы череп: это сама Смерть, — Смерть с ее румянами и прозрачностью ее разложения, Владычица Семи Падалей! Вы знаете Владычицу Семи Похотей. Нельзя же постоянно поклоняться Владычице Семи Скорбей».

*Февраль, 1899 г.* — «Все и вся шествуют!» Гнусный припев, которым Эталь сопровождал в тот вечер свои рассказы и шутки о сбросе на этой премьере, этот бесстыдный лейтмотив, введенный в биографию каждого, искажает и обезображивает все вокруг меня. Клевета сделала свое дело, и на навозе всех этих гнусностей, услужливо распространенных Клавдием, на самом трупе господина де Бердеса расцвел целый отвратительный букет похотливых образов и гнусных мыслей. Этот Эталь! он все загрязнил, все омрачил во мне; словно яд, отравил мою кровь, и теперь в моих жилах течет какая-то грязь. «Все и вся шествуют!»

Меня преследуют непристойности: все предметы, даже искусство, — все в моих глазах принимает какой-то двусмысленный, гнусный вид, внушает мне низкие помыслы и унижает мои чувства и разум.

Лес в Тифроже, описанный Гюисмансом, — сексуальный кошмар старых раздвоенных деревьев и зияющих трещин в коре, — гнусно возник в современной жизни, и вот я, словно одержимый несчастный, околдованный древней черной магией, прогуливаюсь в нем.

Также этот Дебюкур, купленный мною шесть лет тому назад на набережной, изображающий нежными тонами этого художника, двух молодых женщин, обнявшихся и играющих с голубем, — почему эта картина внушает мне теперь

одни болезненные представления? Гравюра эта довольно известна и называется «Птица, возвращенная к жизни». Эти грациозные юные создания, напудренные, в облаках газов и развевающихся батистов, очаровательные по колориту тела и аристократические в своей красоте, почему они ассоциируются в моем воображении с образами принцессы де Ламбаль и королевы?

«Все и вся шествуют»! Эта гравюра вызывает в моем представлении самые гнусные сллетни века, самые отвратительные памфлеты отца Дюшена, грязь якобинских клубов, — и все это из-за жеста одной из этих женщин, отвернувшей свое батистовое фишю и вынимающей спрятавшегося у нее на груди голубя.

И в моей памяти встают все непристойности, циркулирующая насчет отношений Марии-Антуанетты и несчастной принцессы. Меня словно бьет лихорадка. Меня словно объяло какое-то неистовое, жестокое желание и я чувствую себя вдруг перенесенным в прошлый век, я слышу глухой шум народного восстания и среди других я в душный, грозовой день иду к тюрьме... Вонючая толпа людей в красных колпаках, мастеровые с дерзкими лицами, с расстегнутыми сорочками на волосатых грудях, толкают меня, я задыхаюсь, — орут, негодуют; повсюду глаза, полные ненависти. Воздух тягостен, отравлен алкоголем, вонюю отрепьев и нечистот. Обнаженные руки потрясают пиками и с громким криком я вижу на фоне свинцового неба отрубленную голову, высоко вздетую, бескровное лицо с потухшими, пристально глядящими глазами, личину обезглавленного, преследовавшую сновидения Веллкома: угрызения совести прекрасного ирландца становятся моей манией. Это голова женщины. Пьяные мужчины передают ее из рук в руки, целуют в губы, бьют по щекам. Низкие, срезанные лбы придают им вид каторжников.

Один из них несет, обмотанный вокруг своей голой руки, словно пакет окровавленных ремней, целую связку внутренностей; он гогочет, украсив себе губы какими-то странными белокурыми усами, похожими на женские волосы... И вокруг раздаются гнусные шутки, оскорбительный хохот,

— издеваются над его накладными усами. А над толпой на кончике пики качается голова, освищенная, оскорбленная, обруганная: это голова принцессы де Ламбаль, которую сентябристы завьют, причешут, напудрят, нарумянят перед тем как отнести ее к отелю Пентьевра и оттуда к башне Тампля под окна королевы.

Я очнулся, разбитый, негодующий, полный отвращения... Во мне есть что-то разлагающееся. Видения, которые меня привлекают, наводят на меня ужас.

*Март 1899 г.* — Притоны! Эталь заразил меня пристрастием к притонам; он возбудил во мне странное любопытство к проституткам и бродягам. Беспokoйные глаза жуликов, глаза попрошайки, уличных проституток, — вся зверская и изощренная порочность существ, доведенных нищетой до самых примитивных проявлений, — все это манит меня и влечет.

Доходит до того, что я бегаю вечерами по бульварам, поглядывая за шатающимися профессионалками... низы проституции со своим запахом мускуса, алкоголя и жирной косметики, — возбуждают и привлекают меня. Хуже того... опьянившись угарным беспутством публичных бабов, я испытываю какую-то истерическую потребность следовать за парочками по смрадным лестницам «меблирашек»... Я поглядывал в щелку, присутствовал при ссорах и торгах, долетавших сквозь перегородку, подслушивал звериные стоны и любовные восторги! О! шум спугнутых порывов! Иногда поцелуи переходили в драку, и тогда катались по полу в глухой борьбе, в жестокой схватке; голоса удушьяемых женщин звали о помощи; и скрипение сотрясавшихся постелей радовало меня менее, чем иные моменты зловещего молчания, наступавшего после стонов и рыданий. И затем — острое томление, быть может, совершившегося преступления, и судорожные объятия в ожидании нашествия полиции.

Обход, ужасный обход и отвод в префектуру, выхватывающий сутенеров и проституток прямо из кроватей и наполняющий такой спуганной беготней ночные притоны;

сказать только, что я, герцог де Френез, проводил целые часы в ожидании и страхе этого!

О! мучительная тревога засад и драк, смятенные ночи в воровских притонах бульвара Орнано и Четырех дорог, — быть может, финальный удар ножа под конец... Да, я, конечно, на краю пропасти, — Эталю уже некуда вести меня дальше!

## ПРОБЛЕСК

Когда я ночью спал  
с ужасною жидовкой...

*Бодлер.*

Тебя навеки я теряю,  
Все слаще чувствуя любовь.  
Господь ведет тебя, я знаю,  
А мне с тобой не даст он счастья вновь.  
Не надо слез, ни тщетных жалоб!  
Священна мне судьба твоя,  
И как мне сердце грусть не сжала б,  
На твой корабль гляжу с улыбкой я.  
Надежд полна, ты уезжаешь,  
Вернешься с гордостью домой,  
И никого ты не узнаешь  
Из тех, кто провожал тебя с тоской.

. . . . .  
. . . . .

И ты поймешь, как радостно участие  
Того, кто может нас понять.  
Его найти, — какое счастье!  
Как тяжело его терять!

*24 марта 1899 г.* — Эти стихи Мюссе, случайно попавшие мне на страницах, раскрытых машинально, — почему сегодня они вызвали на моих глазах слезы? И почему я, который уже, вероятно, не плакал двадцать лет подряд, — я, который даже в детстве не отличался чувствительностью, почему теперь, читая эти слова прощания, я волнуюсь мучительно и сладко?.. И почему я раскрыл эту книгу? Подобно моим современникам, я питаю глубочайшее презрение к Мюссе, а вот эти строки автора «Роллы» повергли мое сердце в море слез.

Тебя навеки я теряю,  
Все слаще чувствуя любовь.

Это оттого, что я никогда не переживал такой острой скорби и такого самоотвержения возлюбленного, подчинившегося разлуке с покидающей его возлюбленной.

Я никогда не любил. Радости, доступные последнему ремесленнику, самому скромному чиновнику, мгновение, которое все пережили хотя бы раз в жизни благодаря любви, все это оставалось для меня всегда тайной. Я, — безумец, я — ненормальный, я был всегда во власти низменных инстинктов; все низкие стороны моего существа, возвеличенные воображением, превратили мою жизнь в ряд кошмаров. Я никогда не был чувствителен, никогда не обладал даром слез; я всегда старался заполнить свою внутреннюю пустоту жестоким и чудовищным. Похоть — это мое проклятие. Это она исказила мое зрение, развратила мое воображение, увеличила все безобразия и омрачила все красоты природы до того, что только отталкивающая сторона вещей и людей привлекала мое внимание и была для меня казнью за мою порочность.

Это пережиток Зла в небытии.

Я никогда не вдыхал аромата того голубого сентиментального цветка, который хранят в своем сердце модисточки и работницы в шестнадцать лет; мало того, из злости я всегда осмеивал, вышучивал этот аромат шестнадцати лет. У меня никогда не было друзей, никогда не было любовниц; я проводил ночь или содержал некоторое время профессионалок, которых всегда щедро оплачивал; они всегда чувствовали отвращение к моему дыханию, к моим губам — чувствовали, что я их не желал...

Они всегда были для меня лишь телом для опытов — даже не для удовольствия. Жадный к ощущениям и анализам, я смотрел на них, как на анатомические данные, и ни одна из них не подарила мне желанного трепета, ибо я старался уловить это ощущение, затерянное в глубине моей души; ведь не существует нарочитого наслаждения, — есть только бессознательные и здоровые радости; я испортил

себе всю радость жизни, стараясь из нее что-то создать, вместо того чтобы жить, ибо поиски редких ощущений и ухищрения ведут фатально к разложению и небытию.

Никогда я не переживал той минуты забвения, которую последняя из проституток, покончив с трудовым днем, дарит своему возлюбленному, — а один Бог знает, сколько я разбросал денег! Решительно все чувствуют во мне человека ненормального, автомата, гальванизированного вождениями, автомата — то есть мертвеца, и я навожу на всех страх своими глазами трупа.

А эти глаза трупа сегодня плакали.

И ты поймешь, как радостно участие  
Того, кто может нас понять.  
Его найти, — какое счастье!  
Как тяжело его терять!

*Париж, 25 марта 1899 г.* — Я перечитал мой вчерашний дневник. Сколько здесь глупостей! Не правда ли, как хорош сентиментальный припадок герцога де Френеза! Меня растрогали стихи Мюссе: значит, у меня душа модистки.

Но почему я плакал? Сегодня я знаю.

Да, этот разговор, случайно подслушанный через перегородку, в меблированных комнатах, куда я забрался прошлой ночью, две-три фразы, которыми обменялись мои соседи по комнате — это взбудоражило меня всего; и со дна моей взволнованной души поднялась старая тоска и расцвела в слезах...

Этот отель на улице Аббатисс со своей вывеской, горевшей всю ночь, эта надпись «комнаты по 1 франку», светящаяся на тусклых стеклах его фонаря, этот почти притон, дорогу к которому я теперь так хорошо знаю.

Чтобы безлунным вечером, вдвоем,  
В случайной спальне позабыться сном,

(я цитирую теперь Бодлера, чтобы извинить мои худшие слабости)... и в этом-то отеле шестого разряда я чуть не

нашел мою дорогу в Дамаск, — здесь мне показалось, что я слышу слова искупления.

Ну, — не смешно ли это?

Я последовал туда за девицей — ни красивой, ни уродливой, подобранной в каком-то неизвестном кабаке, вовсе не ради ее порочной мордочки, а из потребности тех сильных ощущений, острый вкус которых хранится во мне с тех пор, как я отведал этого плохого вина; меня гораздо больше интересует в этих похождениях обстановка и даже атмосфера, чем их участницы, ибо у меня есть склонность к этим подозрительным местам, — пристрастие к опасности.

О! прекрасное и зловещее смешение и подозрительное сообщество, ужасный риск, неожиданные встречи в этом шаблонном приюте нищеты и порока, преступления и проституции!

Впрочем, как только мы вошли в комнату — девица мне понравилась; я отправил ее — она обнаружила редкую расхлябанность даже в своем ремесле — и, утомленный, я присел в ожидании на постели; тоненькие перегородки этих меблированных комнат всегда таят за собою множество неожиданностей. И действительно, не прошло и десяти минут, как в соседней комнате послышался шепот. Парочка, умолкшая при нашем появлении, возобновила свою беседу; слышался шорох белья, скрип постели, молодой голос, свежесть которого и веселость поразили меня; женщина то замирала от влюбленности, то ворковала, словно горlinkа и с жестом, который я угадывал, в позе, которая рисовалась моим глазам, прокартавила с истинно парижским акцентом: «Ты хорошо пахнешь... ты пахнешь спелой рожью. Я люблю тебя! Ты такой беленький, словно зернышки ржи... Мне хочется тебя съесть!» И тоненький голосок мещаночки, журчащий, как ручеек, умолк под целым каскадом поцелуе: они ласкали друг друга.

Кто был этот человек, которому голос шестнадцатилетней феи шептал эти упоительные слова: «Ты пахнешь спелой рожью... Ты такой беленький, как зернышки ржи... Мне хочется тебя съесть». — Мне никогда не говорили ничего подобного.

Должно быть, они насладились вдоволь в эту ночь... Мужчина больше молчал и только на рассвете я услышал его голос: «Какие у тебя светлые глаза, Мими!» И мое перевозбужденное воображение нарисовало мне жест и улыбку проснувшегося влюбленного, а девчонка своим звенящим голоском с восхитительной шаловливостью ответила: «Вы находите мои глаза светлыми? Это оттого, что они смотрели на вас, сударь». И снова они начали целоваться и играть, шлепать босыми ногами: девчонка выскочила из постели, — мужчина старался ее поймать.

Теперь по их шагам и шуму я угадывал, что они одеваются. Это не были проститутка и бродяга, ибо они, очевидно, не имели времени прохладиться. Это была парочка честных любовников: он, должно быть, рабочий, спешащий на работу; она, вероятно, модистка, которая теперь должна сочинить предлог, объяснявший эту ночь, подаренную ею возлюбленному, — спешкой в мастерской, сверхсрочной работой, потребовавшей целой ночи. Они оба, должно быть, были очень молоды. Мне было интересно увидеть их лица; я встал и, припав к портьерам, стал подстергать их выход из отеля, стоя босыми ногами на каменном полу, раздетый, у открытого окна.

Он вышел первым: желтенькое пальто, шляпа котелком. Должно быть, это был маленький чиновник или приказчик, не старше двадцати двух лет, высокий, худощавый, с незначительной физиономией. Она из осторожности не рискнула выйти раньше, чем спустя две минуты, но он ожидал ее в конце улицы.

Она была очаровательна, — тоже блондинка, со своими спутанными непокорными локонами под скромной черной соломенной шляпой, которую она сама украсила васильками и маками; черная суконная кофточка, платице из дешевого синего фуляра с цветочками, дополняли ее туалет. Она постукивала по тротуару своими желтыми ботинками, гибкая... вернее, похудевшая от любви, слегка побледневшая, с синевой вокруг глаз; но таким счастьем было озарено ее свеженькое личико, что она казалась олицетворением радости и весны.

Им вдвоем не было еще сорока лет. Фруктовые и винные лавки отпирались, убирали ставни с окон. Она догнала его на углу улицы и там они простились долгим поцелуем.

Я наблюдал за ними из окна.

Наконец они расстались; пройдя десять шагов, она еще раз обернулась, чтобы взглянуть на него, но было уже слишком поздно. Он завернул за угол. Тогда она ускорила шаг, исчезла вдруг, согнувшись, словно подавленная тяжелой печалью.

Тебя навеки я теряю,  
Все слаще чувствуя любовь.  
Господь ведет тебя, я знаю,  
А мне с тобой не даст он счастья вновь.

А я снова лег в постель и спал мертвым, тревожным сном, — сном, в котором бесконечно переплетались самые противоречивые образы. Томас Веллком, восковая кукла Эталя, некоторые лица, замеченные в кабаках, прошли чередой у моего изголовья, и еще другие, — лица, которые я видел в ранней юности, даже в детстве, считавшиеся мною позабытыми, — между прочим, лицо Жана Дестре, работника на ферме, разбившегося у нас во время жатвы при падении с воза. Мне было тогда лет одиннадцать.

Почему привиделось мне это лицо? Со времени этого случая оно никогда не являлось мне. Томас Веллком немного напоминает его. Но я никогда не обращал внимания на это сходство. Появление ли Томаса вызвало образ Жана Дестре, или призрак моего детства сам выплыл из моего прошлого?.. И я проснулся на залитой солнцем постели, разбуженный шарманкой, игравшей под окнами.

Был уже двенадцатый час, — день чудный, небо синее, — одно из тех мартовских утр, которые похожи на майские и лазурь которых иногда возвещает Парижу весну. На бульварах стояли тележки бродячих продавцов, полные чайных роз, лакфиолей, желтых тюльпанов, горделивых и нежных нарциссов; хозяйки покупали их, стоя на краю тротуара;

работницы, проходя, украшали -себя букетиками. Уже возвращались из мастерских домой. Париж работал с пяти часов утра и у торговли жареной картошкой уже весело столпился целый рой юных полировщиц в черных блузах, — простоволосых, с беспечными физиономиями.

И этот Мюссе, найденный мною по возвращении домой, эти страницы, машинально перелистанные, эти нежные, проникнутые любовным отчаянием, строки, — в пустоте и мертвенной роскоши моего жилища без женщины:

И ты поймешь, как радостно участие  
Того, кто может нас понять.

Теперь я знаю, почему я плакал.

## УБЕЖИЩЕ

*Париж, 28 марта.* — Вместе с этим Жаном Дестре, явившимся мне во сне, вспомнилось все мое детство, мое детство во Френезе, в Нормандии — дождливой и плодородной Нормандии.

Я часто ходил смотреть, как он работает на ферме, убегал из замка, чтобы играть с ним. Нужно было только пересечь березовую рощу, за лужайкой почти у входа в парк разобрать загородку, и я уже был во фруктовом саду, где земля была влажная, заросшая травой.

Ферма! Комнаты были так широки, так обширны во Френезе, так светлы, так уныло светлы со своими широкими амбразурами окон и лоснящимся паркетом! Вся меланхолия неба, равнин, меняющихся времен года, проникала в эти окна. О! как суровы и сухи были их маленькие белые шторы! Каким одиноким чувствовал я себя в этой неприветливой обстановке! Мебель была тяжеловесная, угрюмая, украшенная львиными головами со знаками зодиака и атрибутами стиля Империи... Я всегда натыкался на углы мебели, и ее холодное прикосновение причиняло боль. И не любил я также тяжелых стульев красного дерева, точно припавших на корточки у портьер... А эти портьеры! они так блестели и были словно замороженные со своими орлами и золотыми лаврами на малиновом или оливковом фоне. Навощенный паркет в форме розеток или ромбов походил на зеркало, атласистый при касании и скользкий при ходьбе. А большие залы во Френезе! Я дрожал в них от холода даже в разгар лета. А верхушки деревьев парка, постоянно колеблющиеся сквозь стекла фрамуги, — какую тоску наводили они на мою детскую душу!

И насколько я предпочитал холодной пышности этих огромных пустых комнат молочную ферму, — где складываются кучками подстилки, — пыльный и ароматный мрак риги и духоту стойл, где так хорошо пахнет коровами!

Особенно любил молочную ферму! В жаркие июльские дни, когда запах свернувшегося молока кажется таким свежим и кисловатым и слегка прокисшие сливки бродят на сквозняки открытых окон, с какою странной и мощной радостью вдыхал я все это! И красные руки экономки на вздувшихся сосках коров, тяжелое падение кала в солому, поспешные поиски в укромных местечках яиц, находимых иногда в уголках решетин, — наше появление украдкой на цыпочках в пустынных стойлах и наши безумные игры в прятки, мои прыжки через бревна риги с детьми фермера!

Да, я предпочитал все это угрюмым дням в замке, часам занятия в библиотеке с глазу на глаз с аббатом и даже мгновениям беседы с моей матерью, всегда лежащей в своем кресле, когда я ходил к ней по утрам и по вечерам здороваться и прощаться!

Комната моей матери! Она всегда была убрана белой сиренью и в ней всегда топили, даже в середине лета, и пахло эфиром, креозотом и еще каким-то запахом, от которого у меня уже на пороге сжималось сердце. Моя мать! Как сейчас вижу ее длинные руки, отягощенные кольцами, совершенно прозрачные, — выхоленные руки с синими жилками под тонкой кожей; они были нежны, ласковы, благоуханны; медленно перебирали мои волосы, поправляли мне галстучек, затем подымались к моим губам и подставлялись дня поцелуя.

Бледные, медлительные руки молодой обреченной женщины, — нежные и хрупкие, пропитанные самыми тонкими ароматами. И все-таки я боялся их прикосновений. Ах! насколько я больше любил потные руки детей фермера! От них так и несло здоровьем и силой; и это утраченное здоровье, этот запах цветущей пшеницы и мокрой травы преследуют меня до сих пор — это они вызвали в моей памяти призрак Жана Дестре!

*29 марта 1899 г. — Жан Дестре!*

На его обязанности лежали полевые работы. В осенние вечера, когда борозды дымились в тумане и усталые лошади медленно возвращались с полей, я ускользал из замка,

бежал сломя голову к опушке рощи и с бьющимся сердцем поджидал возвращения лошадей на ферму. В особенности же я ожидал *его* возвращения. Он был такой веселый, так шутил с нами, малышами! Его веселость оживляла всю ферму. — С тех пор, как он вернулся из полка, словно сам воздух переменялся в округе.

Он служил в Африке и во время работы носил еще свою алжирскую шапку. Африка! Он привез оттуда массу рассказов, заимствованных у арабов, шуток и ужимок, заставлявших хохотать, невольно вызывавших улыбки на лицах. В его глазах отражалось словно само небо, так они были безмятежно сини среди его загорелого лица. Он был высок, худощав и ловок; волосы его были цвета спелой ржи; под солнцем пустыни кожа его загорела, высохла, закалилась. Со своей светлой шевелюрой и пушистыми усами на загорелом смуглом лице, он походил на большую лозу в жаркие августовские дни, и, неутомимый в работе, подгонял своими шутками, своими примерами, своими рьяными жестами, других — нерадивых и вялых жнецов.

В зимние вечера в часы досуга он часто надевал военную форму и устраивал смотр другим работникам фермы.

Я любил его за открытое выражение его больших светлых глаз, за неистощимую веселость, за бесконечные рассказы и доброту к нам, детям; с другими он бывал подчас грубоват. Затем, он научил меня, ради забавы, обращению с саблей: «Отбивай! Руби!» И еще он знал множество занятных песенок, веселых увлекательных маршей, фривольных солдатских куплетов и песен, таких печальных и заунывных, что слезы лились у нас, слушая их. Этим песням он научился там, далеко в Африке, где служил.

По воскресеньям, когда фермер и его рабочие отправлялись — кто в кабак, кто в церковь, он занимался чтением старых альманахов в риге, и тогда я находил его в сене.

Дети фермера были уже там. Меня встречали смехом. Жан Дестре читал нам вслух прозу и стихи из старых книг. У него их была целая куча.

Живительный запах сена и хлеба, стропила амбара, тонущие в полумраке, лучи света, падающие через слуховое

окно, сено, убранное там, под тяжелыми крышами из соломы, все это воплощалось в Жане Дестре и в его серой полотняной рубаше, расстегнутой на груди.

Но я не разбирался во всем этом: я не различал ни цветов, ни запахов, ни образов; я чувствовал все это бессознательно и мощно, наслаждался пламенной и смутной душой, счастливый до того, что порой готов был умереть, но не анализируя отношений, синтезировавшихся для меня в силу незнания. Да и не в этом ли неведении заключается счастье?

О! эти запашки в полях и дымящиеся борозды в тумане первых октябрьских холодов, когда люди и лошади возвращаются с работ такие усталые! Каждый вечер я чувствовал себя опьяненным, словно я слышал запах земли в первый раз. Я любил тогда присаживаться на склоне откоса на меже полей, среди облетевших листьев, и слушать с восхищением замирающие вдали голоса работников, глухой стук телег. Я любил также запах сырых листьев, прохладу дождя, намокшие ветви деревьев и все мое существо замирало, глядя на умирающее солнце, скрывающееся на ночь за горизонтом.

О! мое детство! О! дождливая, печальная Нормандия!

А почему бы мне не отправиться взглянуть на все это? Кто знает — может, эта тишина и эта меланхолия исцелят меня?.. О! омыть весь позор, все пятна моей жизни в очистительной воде воспоминаний! Омыться в зелени, омыться в ноябрьской росе, переходящей в иней, серебрящий на заре унавоженные борозды, — вот что нужно моей очерствелой и обманчивой душе, моему воображению, искалеченному подобно шпаге, искривленной в неудачных сражениях.

Да, мне следует вернуться во Френез! Я избавлюсь тогда от Парижа с его разрушительной и злосчастной атмосферой, где чрезмерно раздражается моя чувственность, где враждебность людей и вещей развивает во мне ужасающие меня инстинкты, избавлюсь от Парижа, который меня разрушает, ужасает и развращает, от Парижа, где я чувствую в себе инстинкты убийцы, — Парижа, где я сам себя гублю,

— Парижа, где я становлюсь трусливым, развратным, жестоким.

Маленькая церковка во Френезе! В ней меня все-таки крестили; хорошо ли, худо — здесь я впервые причащался, здесь отпевали мою мать. Она покоится на сельском кладбище, бедном маленьком кладбище, обнесенном земляным валом, под защитой тени церкви. Что скажет мне эта могила, которую я уже не посещал более шести лет.

Почили. Жизни злой волнения и грозы  
Не станут нарушать покойного их сна.  
Заря и ночь прольют на их могилы слезы.  
Тропинку к их гробам объемлет тишина.

Потревожу ли я тень этой тропинки? И что я скажу усопшей?

Я чувствую, что это продолжение того же сентиментального припадка. Но во что бы то ни стало я должен уехать: быть может, Френез будет моим спасением. Я уеду, не оставив адреса: это будет походить на обморок среди ночи. Я исчезну, никого не предупредив; надо, чтобы никто не знал, где я, в особенности Эталь. Его таинственное влияние может преследовать меня и там. Мне надо убежать от него. Он — злой дух моей жизни, мрачная рука, распростертая над всеми моими мыслями и поступками; рука в ужасных кольцах, чудовищная, волосатая рука, жемчужные пустулы которой истачивают яд и искры, хищные когти, вцепившиеся в мое безволие, которые толкнут меня на преступление, если я не вырвусь из них.

Как ужасно это медленное самоубийство и ужасы, с которыми я сражаюсь! Довольно мучений! Я хочу жить. Как торжествовал бы Эталь, если бы знал, какой ужас он мне внушает!

И, однако, я хочу сломать свою жизнь, отказаться от всего прошлого, от радостей этого прошлого. Ибо и в нем были свои радости, — радости преступный, гнусные, но все же радости! И я хочу развеять это прошлое, поверив в какой-то призрак, в какой-то сон!

Окровавленное лицо пахаря, убитого двадцать лет тому назад! Мне привиделся он сегодня ночью, со своими большими прекрасными изумленными глазами, голубыми глазами на загорелом лице, в феске, нахлобученной на его светлые волосы, и в углу губ эта красная струйка, поток тепловатой крови, хлынувшей из горла, и поперек груди, поверх расстегнутой, мокрой от пота рубахи, след колеса: грязь и кровь, но крови мало, скорее похоже на ушиб, чем на рану, так придавило его телегой, проехавшей по его телу — стройному и мускулистому телу двадцатилетнего малого.

Это было в августе. Близился вечер. Подъезжали к амбарам во дворе фермы, еще освещенной лучами заката. Три огромных телеги, нагруженных пахучими снопами, три тяжелых телеги, спотыкавшихся на каждом откосе, сотрясавшихся на каждой колее, телеги, в которых мы уже столько раз возвращались во время жатвы, на снопах, вместе с другими жнецами.

Мы находились как раз на средней телеге. Он стоял, прицепив к своей блузе пук маков, жестикулировал, оживленный, может быть, слегка навеселе (день был такой жаркий) и трубил изо всех сил в большую раковину, служащую в Нормандии жнецам трубою. Вокруг него, развалиясь на снопах, парни и девки толкали друг друга, смеялись, раскрасневшись от усталости и веселья, с каплями пота на висках. И я среди них вдыхал радость жизни всех этих людей, — веселое оживление этого прекрасного вечера.

Одно из колес телеги завязло в колее: заколебалось все сооружение из снопов и человек, потеряв равновесие, упал с высоты, покотившись на землю. Третья телега следовала за нами. Возчик, быть может, пьяный, не сумел остановить лошадей. Кто-то закричал, все бросились. Лошади не наступили на него: они свернули перед человеком. Но колесо продолжало вертеться, слепое, как материя.

Кровь брызнула изо рта; грязь слегка запачкала его сдавленную грудь: прекрасные большие глаза, слегка изумленные, остановились, широко раскрытые.

И этот покойник зовет меня во Френез! Как похож на него Томас Веллком! Если бы я не узнал Жана Дестре, я бы опасался, что там, в Индии, случилось какое-то несчастье с тем, другим.

## LASCIATE OGNI SPERANZA

*5 апреля 1899 г. — Френез.*

Я приехал сюда в надежде исцелиться, но нашел здесь только одну скуку. Я посетил все пустые комнаты, комнаты, в которых уже не жили двадцать лет; но не испытал при этом никакого волнения: Френез, в котором протекло все мое детство, показался мне чужим жилищем. В каждой комнате, которую мне отпирал садовник, меня только неприятно поражал спертый воздух. Даже в комнате, где жила моя мать в последние месяцы своей жизни, я не почувствовал ничего, кроме холодной и неприятной атмосферы старого провинциального жилища, впервые осматриваемого случайным наследником.

Жена садовника слегка приоткрыла спущенные портьеры. Солнце чуть-чуть проникло чрез просвет, спугнув пыль на мраморных комодах, а суровые кресла в своих саваначехлах оставались во мраке. В большой зале я заметил, что розетка паркета прогнила и что пластинки в нем погнулись; круглый стол посередине наклонился и этим нарушилась холодная гармония огромной прямоугольной комнаты, словно застывшей со своими зелеными цикутowymi обоями, затканными золотыми лирами.

В первом этаже, в деревянной обшивке уборной, упорно держался затхлый запах эфира. Машинально я открыл туалет. Пустые флакончики от лекарств стояли там на полочке; я прочел этикетки. Это была маленькая комнатка, где, по особому капризу, больная любила располагаться, вдали от своей обычной комнаты, нечто вроде аптечки, где она лечилась. В одном из ящиков я нашел маленький перламутровый веер, покрытый блестками, лежащий на груди высушенных роз, среди светло-лиловых, теперь выцветших лент; среди этих лент я коснулся портрета, — фотографии ребенка, пожелтевшей, почти стершейся, туманной, в которой мне не захотелось узнать себя.

Вечером, один, в огромной столовой, украшенной оленьими рогами и другими трофеями охоты, облокотившись

на скатерть, перед пустой чашкой, я задолго до наступления ночи стал ожидать, чтобы ото всех этих вещей, среди которых протекала моя жизнь, возникло настроение, явился какой-нибудь призрак! Я ожидал, что слезы польются у меня из глаз, что меня обнимет трепет — хотя бы страха, и заставит забиться хоть немного то, что когда-то было моим сердцем.

Покажется ли тень Жана Дестре, приведшая меня сюда?

Но я слышал только, как за панелью скреблись мыши, ощущал только смущение и непривычку от того, что я здесь, в этом нежилом и мрачном доме, — один среди тишины заснувшей деревни; но ни неведомый, которого я ожидал, ни слезы облегчения не появились. Но в какого человека, однако, превратился я? Душа моя иссохла, окаменела и никогда не расцветет; она похожа на что-то зачерствелое и окаменелое, только жаждущее страданий и наслаждений. Мне так хотелось быть растроганным и взволнованным! — Испуга, одной слезы, было бы достаточно, чтобы направить по-новому мою жизнь, — целая дверь открылась бы мне в будущее! Это мое будущее радовалось, а у меня не было даже никакого намека на страх, а только полное сознание бесполезности моей попытки, моего ребяческого поступка и моего смешного присутствия в запустении этого заброшенного замка.

Потом на деревенской колокольне пробило час и я вышел на крыльцо подышать свежестью ночи. Где-то на ферме залаяла собака, — ей ответили с псарни.. Я сошел в конюшню, отвязал двух собак и отправился с ними в парк.

Огромные деревья не шевелились, объятые сном; они были еще голые (весна в Нормандии такая поздняя!), небо казалось молочного цвета, все покрытое облаками, сквозь которые просвечивала луна... Да, это походило на светящийся молочный источник, пробивающийся в тумане! Какая тишина, какое одиночество! Ни один листок не шевелился и только в воздухе чувствовался свежий запах молодых почек и сырого мха. Мы вернулись чрез огород. Стекла пар-

ников слегка блестели под лучами луны и мне на мгновение захотелось прижаться к ним пылающим лбом.

Какую прохладу, должно быть, таили в себе эти синеватые стекла, такие же холодные, как мои окна, когда я, подростком, в мучительные бессонные ночи вскакивал с постели и бежал босиком — прижаться лицом к их влажным стенкам!

Стоило мне только увидеть беспредельное, спокойное небо, как мои желания улетучивались, подобно туману, но что значили в сравнении с ужасающим теперешним истощением моей души и тела эти эфемерные вспышки протекших дней?

Я вернулся на заре, разбитый, весь мокрый от росы, мрачный, усталый физически и весь словно под гнетом моего равнодушия, моей прискорбной неспособности плакать и страдать!

Но кто раздавит нарыв этих сожалений и преждевременно угасших нежностей, этот вздувшийся нарост заглушенных страстей и мертвых горестей? Какие щипцы, какая жестокая и целительная судорога освободят меня от этого ужасного и тягостного душевного состояния?

Кто возвратит мне дар слез? Я был бы спасен, если бы мог плакать. Это волнение, которое я испытал в ту ночь на Монмартре, в этом притоне за три франка на улице Аббатисс, — если бы я мог его обрести снова!..

*Френез, 6 апреля 1899 г.* — Сегодня предо мною прошла жалкая процессия фермеров, священника и местных властей. Все узнается в этой деревенской дыре: не удалось скрыть моего приезда, а деревня из нуждающихся. И все эти хитрые и корыстные нормандцы, воспользовавшись случаем, явились сегодня кланчить и жаловаться в замок.

Я передал пятьсот франков священнику и уменьшил аренду трем фермерам; но я не принял ни мэра, ни учителя, которые хотели повести меня осматривать школу... Новые школы, построенные по плану архитектора из Парижа — вероятно, какие-нибудь чудовищные современные здания, — как можно заключить по высоким претенциоз-

ным крышам, обезображивающим теперь левую сторону парка.

Их школы! Мне даже не захотелось возвращаться на ферму. Достаточно было выслушать, как управляющий перечислял все улучшения, сделанные во время моего отсутствия по просьбе арендаторов; каналы и канавы, черепитчатые крыши вместо крыш соломенных, образцовые стойла и коровники, облицованные резервуары для купания лошадей, сорок тысяч франков, сбереженных за три года с аренды на перестройку и переделку старых помещений.

Нет, мне не захотелось возвращаться на их ферму. Жан Дестре не мог бы оставаться тем же Жаном Дестре под новыми сводами черепитчатой крыши, в облицованных фаянсом стенах английской конюшни, в денниках из американской пихты вместо прежних лошадиных стойл. Атмосфера создает людей и вместе с ее исчезновением — исчезает и память о них. Я приехал сюда не затем, чтобы убить призраки; мне даже не пришлось об этом думать, ибо со времени моего приезда во Френез все призраки рассеялись.

Как печальна и некрасива эта страна в апреле! Весна здесь нерешительная, робкая, суровая. Мартовские ненастья еще чувствуются в воздухе, растительность запаздывает; и на печальных плоскогорьях волнуются беспредельные пашни с жиденькими ростками зеленеющей ржи. Небо всегда закрыто тучами, дует резкий холодный ветер и жатва всходит хилая, рахитичная. О! как суров и каменист вид нормандского неба в конце марта! Это его неизбывная печаль, которая, проникнув во фрамуги высоких окон Френеза, омрачила все мое детство и сообщила моей душе болезненное пристрастие к острым ощущениям и к дальним странам.

Во Френезе — те же впечатления! Какой убогой показалась мне анфилада комнат, запустелых, огромных! Этот парк, деревья которого когда-то привлекали меня своей таинственностью и шумливостью, занимает меньше трех гектаров земли; он весь как на ладони. В конце каждой аллеи уже видны поля. Однообразие этих запаханных пространных наводит тоску...

В этом Френезе словно находишься на островке среди моря пашен, и я понимаю, откуда эта тягостная атмосфера, которою я еле дышал, ожидая Бог весть какого чуда, которое развеет тоскливую атмосферу этих полей, этого парка. Я чувствовал себя здесь пленником, словно на маяке, и бесконечные равнины заставляли меня тосковать по другим странам, как тоскуют на берегу моря!

Море! Глаза Жана Дестре цвета морской воды! Оттого они и остались в моей памяти, что заключали в себе все, чего я желал и что еще до сих пор ищу, к чему стремлюсь. В них заключалось откровение невозможного счастья: счастья души! Это — невинные глаза моего чистого детства; ведь только после того, как я развернулся, соприкоснувшись с людьми, я так безумно стал искать зеленых глаз. Мания этих зеленоватых глаз теперь знаменует падение, — но как безумно; я любил и привязывался к людям и вещам в детстве. Секрет счастья, быть может, заключался бы в том, чтобы любить всех, не выделяя никого!

Каждая тварь свидетельствует о Боге, но ни одна не проявляет его, — прочел я где-то. Лишь только наш взгляд прилепится к которой-нибудь из них, тварь отвращает нас от Бога.

*Тот же день, 9 часов вечера.* — Возвращаясь недавно с кладбища, я сделал большой крюк, чтобы не проходить через деревню. Мне хотелось избежать кумушек, сидящих на порогах, детей, возвращающихся из школы, и разговоров с мужчинами, собравшимися у шорника и у кузницы. Мне казалось, что и здесь моя гнусная репутация предупредила меня; досада взяла меня при мысли обо всех этих шушуканьях и смешках, и я оставил в стороне деревню, пройдя позади домов.

Со стороны Вье-Кастеля среди поля остановилась повозка фокусников. Женщина стряпала на открытом воздухе на маленькой железной печке. Усевшись спокойно на стуле, она наблюдала за варкой ужина; сырое белье сушилось на оконцах повозки. И два ребенка, — два полуголых мальчугана, с великолепными черными глазами, тормозили ко-

зу, должно быть, принадлежавшую семейству. Маленькие, запачканные в земле ручонки, жадно дергали вымя и ротки искали сосков.

Небо, перехваченное на горизонте равнины полоской киновари, заволакивалось сумерками; ветер стих. И на фоне этого теплого и нежного вечера вдруг показался силуэт человека, изуродованный мешком картофеля, который он нес на спине. Он молча поцеловал женщину в лоб, бросив мешок, освободил козу схватил обоих малышей, и стал их безумно целовать. Это был высокий, худой человек со смелым лицом, освещенным рядами чрезвычайно белых зубов; у него был сумрачный и вместе с тем веселый вид; от него пахло потом и пылью, но лохмотья костюма еще словно хранили аромат дрока. Он дерзко смерил меня взглядом и расхохотался мне прямо в лицо, продолжая с той же страстностью целовать своих мальчуганов. Я остановился, чтобы посмотреть на него.

Я продолжал свой путь, ничего не сказав, повторяя про себя это выражение Андре Жида:

«Я сделался бродягой, чтобы соприкасаться со всем, что блуждает; я проникся нежностью ко всему, не знающему, где согреться, и я безумно полюбил всех скитающихся».

Сейчас после моего обеда в одиночестве, наедине с самим собою, я вошел в библиотеку и взял первую попавшуюся книгу, чтобы рассеять скуку, убить время до сна. Случилось, что мне попался Данте, «Божественная комедия» в оригинале. Я раскрыл книгу и мне бросились в глаза слова:

*Lasciate ogni speranza...*

Оставьте всякую надежду!

— Во Френезе этому есть отклик.

## ПОСЫЛКА ЦВЕТОВ

*Френез, апрель 1899 г.* — Мои чемоданы упакованы. Через час я покину Френез, а через пять часов я буду в Париже. Больше я не могу! Не могу больше!

Эта тишина меня давит, уединение тяготит. О! муки сегодняшней ночи среди мертвой тишины этой деревни и этих полей! В Париже, по крайней мере, чувствуешь дыхание целого заснувшего населения; там бодрствуют столько наслаждающихся, столько честолюбцев, столько ненавидящих, столько беспокойных! Здесь целое человечество, измученное до изнеможения, впадает в сон, словно проваливается в бездну. О! летаргия этих ферм, этих немых деревушек под необъятными небесами, и ужасающая тоска всех этих черных углов ночью, без малейшего проблеска, обнаруживающего жизнь!

Облокотясь на открытое окно, я чувствовал себя словно на кладбище, одинокий, точно позабытый в панике среди какой-нибудь местности, опустошенной чумой. Мне казалось, что эти селения никогда не проснутся. И я ощущал непреодолимую потребность убедиться в жизни, безумное желание кого-нибудь поцеловать, укусить, — желание, от которого у меня пересохло в горле — и во всех членах я чувствовал стремление кого-нибудь коснуться, обнять, от чего у меня мучительно сжимались пальцы.

Если бы у меня было, как прежде, хозяйство, я бы отправился на поиски какой-нибудь служанки фермы. В городе знаешь, куда идти, когда вас охватывает безумие. Мне уже были знакомы эти припадки ужасной истерии. Уже два года у меня не было подобного приступа, и надо было мне приехать во Френез, чтобы пробудилась ужасная болезнь. А я приехал сюда искать покоя! Я думал, что здесь я найду себе приют!

Уединение! Тишина! Наоборот, — какой страшный простор для дурных инстинктов! Все ядовитые ростки души распускаются, возбуждаемые скукой, и в келье монахов проис-

ходят самые жестокие схватки с дурными внушениями совести.

Время идет, и я лишь успел набросать эти несколько строк поспешно в моей записной книжке, чтобы запечатлеть мое падение: и уже я слышу, как выносят багаж и лошади дорожной коляски топчут у крыльца: через десять минут мы уедем.

### *Апрель, Париж.*

Печальных тирсов ночь на дне угрюмых чаш, —  
Влюблен я, ирисы, в зловещий сумрак ваш.  
Цветы тоски и сна, чудовищность желанья  
Дарит вам странное и тяжкое дрожанье,  
Фермент таинственный тая в сени стеблей.  
Владеет вами зло; в вас, черные, сильнее  
Неутоленная мечта и зной соблазнов острых,  
Чем в ваших радостных, невинно-светлых сестрах.  
Цветы атласные тоскующей луны,  
Вам медленная смерть дарует злые сны,  
С жестокостью сплетя томительную нежность:  
Незрелость замыслов, свирепая мятежность,  
Измены мрачные в глазах и на устах, —  
Вот сны тяжелые на ваших лепестках.  
Цветенья трупные в саду немых мучений,  
Вы для души моей участницы томлений  
И сестры верные испуганной любви.

Я сочинил эти стихи во славу черных ирисов во времена моей юности (ведь я тоже был поэтом на двадцатом году: кажущаяся сложность рифм и ритмов должна была пленить мою пустую и осложненную душу, забавлять своими трудностями примитивное ребячество, всегда дремавшее во мне). Черные ирисы! Надо же было, чтобы я вспомнил о них тотчас по возвращении.

Чья-то неведомая рука украсила их огромными цветами весь первый этаж в улице де Варенн. Начиная с передней до маленького салона, служащего здесь приемной, по всей анфиладе комнат эти беспокойные и мрачные цветы;

все наводнено длинными и широкими лепестками сероватого крепа, какими-то подобиями летучих мышей, окаменевшими в виде цветов. Цветы — в огромных вазах клуазоне в передней, цветы — в белых севрских урнах гостиной, цветы — в японских вазах моего кабинета. К этим цветам прирешаны пучки горделивых нарциссов, кажущихся целым дождем светлых и чистых звезд на фоне этого экстравагантного черного траура.

Привратник объяснил мне, что цветы прибыли третьего дня из Ниццы: пять огромных корзин цветов, которые он решился распаковать и расставить по комнатам. Отправитель — господин Эталъ... Эталъ, значит, в Ницце? С каких пор? Кроме того — сообщает мне привратник, — есть еще посылка от Эталя: маленький ящичек, предшествовавший за неделю этой лавине цветов; ящичек помечен Лондоном и, так как на нем была надпись по-французски и по-английски «хрупкое» и «в собственные руки», то прислуга не решилась его открыть, — подождали моего возвращения. Кроме того, для меня целая грудa писем: «Одно из Лондона, одно из Ниццы, в котором, вероятно, господин герцог найдет объяснение этих посылок».

Уже одиннадцать часов вечера и мне безумно хочется спать; но эти цветы и эта посылка таинственного ящичка возбудили мое любопытство, — нервы взвинчены, и я уже не думаю больше обо сне. «Пусть принесут сюда ящичек». И лихорадочной рукой я разыскиваю на подносе среди кучи писем письмо Клавдия... Какая масса писем! Я пробыл во Френезе едва шесть дней и по возвращении нахожу более тридцати писем. Я хорошо знаю — откуда они: держатели подозрительных отелей, сводни, матроны и посредники, целая продажная, ненасытная армия, точно свора, преследующая меня по пятам, целые года расставляющая мне сети и старающаяся оживить мою тоску, разжечь мои желания.

Я только касаюсь этих конвертов, но не открываю их, я наверное знаю, что в них содержится, что они мне предлагают. Иногда они бесят меня, и тогда у меня является желание отослать эти письма прокурору Республики и слегка

очистить общество от этих корреспондентов. Ведь есть же тюрьмы и больницы... Но, в конце концов, ведь надо же всем чем-нибудь существовать, и я слишком хорошо знаю по опыту, какие суррогаты любви, увы! продают под видом невинностей все эти торговцы тел и душ. Но все равно, — после тоскливой тишины Френеза это возвращение в Париж, черные ирисы Эталя и эта городская биржа разврата, все это — знаменательно и законно. Словно *Мене, Текел, Фарес*, написанные огненными буквами на стене дворца Валтасара. *Оставьте всякую надежду Данте* — значит, живо не в одном Френезе.

Эта неприветливая встреча зловещих цветов на пороге дома, — цветов, когда-то так мною любимых в часы безумств и распутств, этих воспетых мною чудовищ, эта позорная корреспонденция со всеми агентами и агентшами любви!

Мою жизнь я влеку за собою. Что за наказание!

Впрочем, некоторое облегчение среди этой гнусности: известие — что Эталя здесь нет. Его отсутствие придает мне спокойствие; и его два письма, с которых я почти одновременно срываю конверты, подтверждают мое освобождение. Я читаю первое попавшееся.

«Ницца, 2 марта.

Мой дорогой друг,

Я покинул Лондон. Развод леди Кернеби принес мне пользу. Я сумел поладить с ее защитником, и лицемерие англичан, от которого я столько страдал, на этот раз послужило мне против этого болвана лорда Эдуарда: я воспользовался его обвинением в адюльтере. Суд отказал ему в претензиях на мой портрет. Вы знаете, что из всех моих произведений, это вещь, которую я ценю всего выше: маркиза Эдди Кернеби, — быть может, самое прекрасное существо, в понятиях моей эстетики, которое когда-либо существовало в королевстве. Я ее еще идеализировал, — усилив на портрете ее болезненную, слегка траурную очаровательность. Я работал над этим портретом около полугода, а лорд Эдуард не хотел мне его возвращать и заплатил только половину

условленного. Исход его процесса устраивает всех: теперь он принадлежит маркизе. Леди Кернеби здесь, в Ницце, умирает в чахотке! Бедняжка давно уже была больна, но перипетии этих последних шести месяцев чрезвычайно ускорили ход болезни. Если б вы знали, как она прекрасна, источенная медленной агонией этих двух лет, — но теперь она не долго проживет. Я вижу ее ежедневно и провожу большую часть вечеров возле нее; я настиг ее здесь и рассчитываю уговорить ее уступить мне этот портрет. Вам, кажется, неизвестно, что леди Кернеби — сестра сэра Томаса Веллкома (Веллком незаконный сын); она чрезвычайно привязана к своему брату, и если я получу от нее столь желаемый мною портрет, то только с формальным условием передать его сэру Томасу по его возвращении из Бенареса, где он сейчас находится. Какие осложнения с этими английскими семьями! Если эта картина перейдет ко мне, я снова возьмусь за кисть, и вы еще увидите живопись вашего

Клавдия.

P. S. — Маркиза, которой я рассказал о вас, разрешила мне ограбить в вашу честь ее сад и оранжерею. Посылаю вам от нее и от себя целую жатву нарциссов и черных ирисов. Я знаю, что вы их любите, хотя вы мне об этом никогда не говорили. Эти ирисы исключительно хороши, они точно напитались какой-то жутко-черной кровью: словно цветы, выросшие на поле сражения. Я посылаю их главным образом тому маленькому идолу, который я вам послал с неделю тому назад; ожидаю о нем известий и даже беспокоюсь за его участь. Было бы жаль, если бы эта вещь затерялась в дороге, ибо помимо того, что это — уника из чрезвычайно редкого материала, за ней стоит целая известная вам легенда, и ее изумрудные глаза были свидетелями потрясающей драмы. Только этот идол знает то слово, которое он, может, вам скажет, если вы воздадите ему должное почитание и выкажете себя его ревностным поклонником.

Держу пари, что ему понравится вид и запах этих ирисов... Остаюсь пока здесь, в позе ястреба, подстерегающего труп».

Цветы для идола? Выигранный процесс? Я распечатал второе письмо прежде первого. Надо было начать с этого, помеченного Лондоном.

«Мой дорогой друг,

Я внезапно уехал из Парижа, не простившись с вами; сюда вызвало меня важное дело: шумный скандал развода Кернеби дает мне возможность вновь возбудить и выиграть мой процесс против лорда Эдуарда. Вы знаете, что этот дурак-муж незаконно присвоил себе портрет, который я написал с его жены. Маркиза Эдди... получает развод от маркиза: она получит право распоряжения своим состоянием и всей своей движимостью. Моя картина считается в числе вещей, которые должны отойти к ней. Доказать это судьям — задача ее защитника, который также и мой: отсюда важность или, вернее, необходимость моего присутствия здесь. Я возлагаю на себя тысячу и одну хлопот, но если этот портрет попадет в мои руки, я чувствую, что во мне проснется художник, каким я когда-то был, а новая работа сделает из меня другого человека, вернув мне вкус к краскам и к свету. Молитесь всем добрым и злым духам, чтобы это мне удалось. Я нашел здесь среди кучи безделушек и брошенных вещей маленькую статуэтку, которая вас заинтересует: маленькую ониксовую Астарту, у ног которой господин де Бердес был найден задушенным в своем домике в Вульвиче, — идола с изумрудными глазами, поклонение которому он хотел установить, и слегка кровожадный культ которого доставил нашему другу Веллкому миллионы, дающие ему возможность теперь путешествовать.

Во время распродажи вещей Бердеса я перебил ее за большую цену у антикваров Сити. Я помню, как вас заинтересовало ее описание в тот вечер, когда я рассказывал вам трагическую смерть этого бедняги де Бердеса. Этот ма-

ленький азиатский идол окружен довольно красивым ореолом таинственности. Веллком знал его, — быть может, поклонялся ему, — кто знает — не он ли внушил ему идею преступления? Ведь Астарта Карфагена и Тира называется в лесах Индии также богиней Кали. Воплощая любовные объятия, она символизирует также объятия смерти и душит руками своих фанатиков-тугов, знаменитых браманов, делийских душителей-тугов. Уже десять лет она принадлежит мне, сделалась почти моим другом. Позвольте же мне поднести ее вам в память Веллкома и меня: это прибавит еще одно звено к той крепкой невидимой цепи, которая соединяет нас троих. Я не знаю, когда смогу вернуться в Париж: боюсь, что мне придется ехать в Ниццу к леди Кернеби, которая лечится там уже с начала зимы.

Были ли вы в музее Гюстава Моро на улице Ларошфуко? Я ведь вам очень советовал это. Там вы увидите странные взгляды: жидкие и неподвижные, и глаза, одержимые видениями с божественной экспрессией; вы сравните их с изумрудами, вставленными в ониксовый лоб идола. Особенно ночью, особенно при свете свечей, — вы увидите, какого напряжения достигает их блеск».

Привратник внес ящичек в комнату. Три удара молотком, и он открылся; я вынул сено, осторожно снял тонкую шелковистую бумагу и показалась незрячая статуэтка Андригоны. Это тот самый маленький идол, о котором рассказывал Клавдий. Это его плоский торс, его тонкие блестящие руки, его крутые бедра. Демонический и иератический, из цельного черного оникса, он и притягивает и отражает в себе пламя свечей; заостренные круглые груди выступают светлым пятном над темным животом, узким и плоским, вздымающимся вверху ног под маленьким черепом.

Череп усмехается, символически угрожающий, торжествующий над материнством и расами!

Под низким лбом незрячий взгляд зеленых зрачков, два глаза мертвого кристалла, лишённые зрения... В полумраке передней вздымаются черные ирисы и нарциссы, кажущиеся еще более темными в сумраке, прорезанном светлы-

ми пятнами, и вся анфилада комнат наполнена их торжественным вечерним бдением. Весь дом кажется охраняемым призраками цветов. На улице фиакры катят по направлению к бульвару Сен-Жермен. Дыхание всех этих цветов, усилившееся к ночи, делает атмосферу тяжелой, душливой. Маленький идол усмехается молча, и меня давит тоска, охватывает оцепенение!

## ЗОЛОТОЙ ГОРОД

*18 апреля 1899 г.* — Вчера вечером, вернувшись в Париж, я был так странно встречен всеми этими траурными цветами и ониксовой Астартой, таинственным идолом вувичского святилища, введенными ко мне волей Эталя. И внезапно все эти вещи вызвали в моей памяти воспоминание о Томасе Веллкоме, Веллкоме, сводная сестра которого умирает в этот момент в Ницце, подстерегаемая этим самым Эталем; и среди всех этих мрачных событий сегодня же утром я получаю письмо из Бенареса; и в конверте с англо-индийскими марками восемь больших страниц, исписанных незнакомым мне почерком, — почерком Веллкома.

Случайность ли это? Или, наоборот, эти два существа, связанных каким-то темным прошлым, согласились заранее? И неожиданное прибытие этих цветов, этой статуэтки и этого письма, не подстроено ли все это, чтобы сразу ошеломить меня одним ударом?

И, однако, — каким успокоительным, каким непохожим на тягостные советы Клавдия показалось мне длинное и лучезарное послание Томаса! Какой призыв к освобождению и к здоровью! Нет, этот человек не хочет мне зла.

«Бенарес, 10 марта 1899 г.

Отчего вы не послушали меня, милый друг? Почему не последовали за мной — как я вас об этом просил, почти умолял, — в глубь таинственной ведической Индии, в чудесную землю очаровательных видений и утешающих легенд — в город экстаза и света — святейший Бенарес? И подумать только, что вы остались в Европе, под узкой лазурью наших городов, с этой мучительной потребностью впечатлений, присущей вам, этой жаждой жизни, терзающей вас, — пленника безжалостных законов наших цивилизаций!

Здесь вы нашли бы, наверное, исцеление, — здесь, в этой атмосфере необъятного опьянения, этой вечной эк-

зальтации толпы, молящей, заклинающей днем и ночью божество, почти явное в великолепии земли и небес.

Бенарес! Мечеть Оренг-Зеба, и постоянное движение на Ганге барок с пилигримами, и храмы на сваях в «гатах Пяти Рек», эти дворцы, мечети и купола, отражаемые рекой, их бесчисленные лестницы, уступы которых, уставленные статуями, спускаются в расплавленное золото реки! Ибо все в этом благословенном городе из золота. Золотой ореол неба, куда возносятся купола, покрытые золотом, и розовые верхушки минаретов; золотые паперти, золотые колонны, золотые навесы над алтарями, золотые изображения музыкальных апсар, появляющиеся в позе безумного взлета над карнизами и колоннами храмов; золотые тела у нищих, толпящихся на берегу реки; золотыми кажутся недвижные факиры, оцепеневшие в экстазе; золотые огромные вазы в руках священников, совершающих обряды на высоких террасах; золотой кажется толпа верных, распростертых на ступенях и между колонн в немом поклонении Ганге, “Ганге Джай”, — матери Ганге, священной реке, самой святейшей из всех, которой они приносят свои обеты.

Весь индийский буддизм изливается здесь, в экзальтации света и бесконечной жажде истинного блага, — вся Индия, поклоняющаяся, галлюцинирующая и счастливая в своей вере и своем рвении. Рвение! Весь секрет человеческого счастья в этом: любить ревностно, страстно интересоваться чем-либо, всюду видеть Бога и безумно любить Его в каждом явлении, страстно желать всю природу, всех людей, все предметы, не останавливаясь на обладании ими, отдать себя на безумную любовь к внешнему миру, не задумываясь — хорошо или плохо это желание. Ибо всякое чувство — реальность, и великолепие вещей зависит от той степени страстности, с которой мы относимся к ним. Значителен взгляд, но не сама вещь, на которую мы смотрим. Не все ли равно, откуда экстаз, если он охватил нас? Все чувства — как бы двери, открывающие нам пленительное будущее: жить в нем — вот религия. Прошедшее умерло; зачем медлить у трупа? Все, чем мы обладали — уже тлен и,

когда мы сожалеем о чем-нибудь, — мы носим в себе уже зародыш смерти.

Обогатиться желаниями, вот чего требует рвение, и это рвение восхитительно дополняет любовь.

Бенарес в течение веков умирает в судорогах пламенности и сама эта пламенность, этот экстазизм всей Индии поддерживает в нем искру жизни.

О! золотой храм и святейший из всех святых городов; идолы, лингамы, очарование его узеньких улочек, их спуск к реке, и там, среди бесконечного ряда дворцов и храмов, ужасающее смешение, — очаровательное и наивное смешение всех индийских рас, где браминов, нищих, идолов и животных уважают и принимают с одинаковой кротостью и умиротворенной любовностью религиозно-настроенной толпы.

Жрецы медленно обходят вокруг большого быка из красного камня — эмблемы Шивы; женщина набожно обмывает священной водой каменный лингам и украшает его цветами. Равнодушные коровы спускаются к реке, жуя цветы. Ноги скользят по калу и мокрым листьям. Нищий молится перед бесформенным изображением планеты Сатурна. От времени до времени гонги и огромные барабаны бьют тревогу; раздается глухой гул, и в тяжком воздухе звенит напряженный звук. Тяжкие миазмы вздымаются от кладезя мудрости, где пребывает бог: это разлагаются бесчисленные растительные жертвы, нагроможденные там.

На рыжем небе, над золотыми куполами, изумрудные попугаи описывают сверкающие эллипсы и усаживаются попарно, болтая, на фронтонах храмов. Повсюду стоит запах тления и разложения: беспокойная душа кладезя мудрости, заключающая в себе жизнь и смерть.

Лодочники царят на реке и припев “Ганга, Ганга Джаи!” не умолкает на их черных губах в то время, когда их ленивые барки скользят в беспредельную даль; на поверхности этих барок целые семьи живут и умирают, убаюканные божественным течением. “Ганга, Ганга Джаи!” И в этом горганном выкрике как бы вся тайна человеческих различий. “Ганга, Ганга Джаи!” Это как бы само эхо святого города и

также эхо веков, мрачный город сумрачных идолов и таинственных храмов, — сама душа этой непроницаемой земли Индии.

Снова следуют дворцы, выстроенные индусскими принцами. Вам называют имена. Это — дворец индорского раджи с балконами в голубоватых разводах в стиле Людовика XV; затем следует дворец магараджи Удейпора, с зубчатыми стенами, с воротами, украшенными по бокам башнями, словно в крепости. Собаки, огромные черепахи в воде, пламя вокруг кучи дров, три суровых силуэта в саванах, группы молчаливых людей: здесь сжигают мертвых. Пепел идет в реку, и так как презренная каста, которая одна имеет право поддерживать огонь, берет за это очень дорого, то бедняки сжигаются плохо и отправляются по течению, а тысячи людей купаются ежедневно в Ганге, и пьют из нее воду, не задумываясь; таким образом обращается в природе единая субстанция жизни в смерти. И снова террасы и еще террасы, и рокотание толпы на длинных лестницах. Вот обсерватория с открытою на реку площадкой, где дремлют гигантские инструменты; здесь темная улочка круто спускается к реке; здесь грезит недвижный аскет, окруженный серыми обезьянами и синеватыми голубями, отнимающими друг у друга зернышки, упавшие к его ногам.

Дальше гат с расшатанными ступенями опрокинул храм в воду. Над водой возвышаются колонны, резьба. На них факиры-столпники с изможденными телами, и волна колеблет речные цветы в их тени. Дальше нагромождены шлюпки, эстрады, тростники, голые тела, опоясанные клочком материи, чаши возлияний, сверкающие на солнце, бродячие собаки и распростертые верные, целая сеть соломенных зонтов, приткнутых ко всем углам, ко всем стенам, — всех оттенков желтого, одни похожие на золотые грибы над лавочками, другие приставленные к дверям, словно щиты. Тысячи изменчивых явлений, постоянно сменяющихся; и все это пламенеет в лучах заката. Атмосфера насыщена торжественностью и обоготворением вместе с волнующими испарениями реки: вонью сжигаемых тел, благовоениями, запахом корицы, ароматической резины, увядших

цветов и стойл и все время несмолкающий “Ганга, Ганга Джаи!”, словно спазматический стон; и над всем этим — купола и колоколенки, необычного вида цветы, — одни похожие на пламя, другие на гигантские лотосы, постройки, порывающиеся к небу, словно колеблющиеся среди зноя в разнообразии своих форм и все трепещущие искрами в великолепии вечеров.

Этот вечер сумел воспроизвести только ваш Вилье де Лиль-Адан в расплавленном металле его слов, или ваш Гюстав Моро своей пламенеющей драгоценностями палитрой.

*Триумф Александра...* Знаком ли вам маленький музей на улице Ларошфуко?.. Только там, среди сокровищ несравненного творчества, вы сможете, гипнотизируя себя, представить пылающее величие и обоготворенную атмосферу мартовского вечера в Бенаресе. Бенарес! Я нахожусь здесь уже две недели и в религиозном экстазе, охватывающем весь город каждый день в сумерки, я наблюдаю вечер, словно день должен погаснуть навсегда.

Когда зрелище красоты достигает такого величия, кажется, что оно должно исчезнуть навсегда. Под нашим европейским небом подобные ощущения нельзя переживать дважды. И вот почему я звал вас сюда, — вот почему я обращаюсь к вам с этим последним призывом. С вашим нежным и отзывчивым сердцем, готовым от всего расцвести, вы дадите простор здесь всем вашим желаниям, хотя бы только от экзальтации света, в котором каждый предмет, каждое существо напряженно звенят, словно металл, и колоритны, как цветок; вы возродитесь под этим новым небом; среди этих совершенно новых впечатлений вы научитесь находить счастье в себе, но не вымаливать его у прошлого. Прошлое — падаль; оно отравляет все ваше я. В Бенаресе вы будете жить среди пламенного оцепенения, окруженный изумительной архитектурой, народом и климатом, где каждая минута будет представляться вам полной неожиданных и изумительных впечатлений.

Я зову вас к этому. Так как я уже испытал это, то говорю вам: “Приезжайте”. Здесь жизнь такова, какой она долж-

на быть, — какой-то безумный экстаз. Орел опьяняется своим полетом; соловей упивается летними ночами; равнина трепещет от зноя, заря рдеет от радости и луна бледнеет от сладострастия. Цивилизация изуродовала жизнь. У молодых народов всякое переживание доходит до экстаза и всякая радость религиозна.

Буддизм, последователи которого толпятся по берегам Ганга, есть умиленное и восхищенное преклонение целой расы перед богами и, так как этот народ, хотя и проживший тысячелетия, еще молод, то он предается пламенно религиозности и созерцает будущее, равнодушный к стоячим водам прошлого.

Одушевляемый надеждой, он углубляется в прозрение, поглощенный созерцанием природы, равнодушный к случайностям настоящего; и суетня других вокруг него только углубляет в нем ощущение его личной жизни.

Житейская сутолока не существует для факира. О! как мы далеки здесь от старой Европы!

Приезжайте, спешите сюда, мой дорогой герцог. Индия будет для вас радостным исцелением. Вы вдохнете здесь запах вечного лотоса, как в этом сонете Ари Ренана, строчки которого вспомнились мне на этих днях в Бенаресе — в них вся индусская мораль:

Брамин сказал мне: “Чти священное Предание.  
К покою Вечному людей Мечта ведет”.

Раскрыв объятия мне, сулил мне радость тот,

Кто ходит в митре, в длинном одеянье.

Мне воины сказали: “Лучшее призванье

Быть в нашей касте. Сам пусть каждый изберет

Себе по праву часть”.

Мне чандала поет,

Проказой поражен: “Люби, познай страданье”.

Страданье и любовь по воле выбрал я.

Забыл мои грехи, хоть я и очень грешен.

Науки и Богатств бежит душа моя.

Отвергнутый людьми, я лотосом утешен:

Дано мне здесь его бессмертием дышать,

И в чаше нищенской Амвросию вкушать.

## ЗАПАДНЯ

*Апрель.* — «Ходили ли вы смотреть картины Гюстава Моро на улице Ларошфуко? Ведь я советовал вам сделать это. Там вы увидите странные взгляды: жидкие и неподвижные, и глаза, одержимые видениями с божественной экспрессией; вы сравните их с изумрудами, вставленными в онисовый лоб идола. Особенно ночью, особенно при свете свечей, вы увидите, какого напряжения достигает их блеск.

Эталь».

*«Триумф Александра... Знаком ли вам маленький музей на улице Ларошфуко? Только там, среди сокровищ этого несравненного творчества, вы сможете, поддаваясь его гипнозу, представить пламенное великолепие, всю обоготворенную атмосферу мартовского вечера в Бенаресе!*

Веллком».

Гюстав Моро! К произведениям этого художника отсылают меня и Эталь и Веллком, как к какому-то врачу-целителю. Не сговариваясь между собою, эти два человека, которых разделяет что-то неизбежное и которые друг друга ненавидят — в этом я убежден — посылают меня, — один из Бенареса, другой из Ниццы, в музей на улице Ларошфуко, как к какой-то чудесной купели. Между тем, Веллком хочет спасти меня, а Клавдий стремится только к тому, чтобы усилить мои страдания.

О! Гюстав Моро, — творец стройных Саломей, покрытых струящимися драгоценностями, Муз, несущих отрубленные головы и Елен в кованных ярким золотом одеждах, которые возвышаются с лилией в руке и сами подобны большим цветущим лилиям на груди кровоточащих трупов. Гюстав Моро, — адепт символов и извращенностей древних

теогоний, поэт кладбищ, полей сражений и сфинксов, художник Страдания, Экстаза и Тайны, — артист, который из всех современных наиболее приблизился к Божеству и которому это Божество являлось всегда смертоносным! О, Гюстав Моро, твоя душа художника и мыслителя более других всегда волновала меня!

Саломея, Елена, Эннойя, фатальные для своих рас, — Сирены, пагубные для человечества! Значит, и его преследовала символическая беспощадность умерших религий и божественное прелюбодейство, которому когда-то поклонялись народы.

Мечтатель, каких до него не было, он был властелином в области грез, но, сам больной и отражавший в своих творениях владевший им трепет тоски и безнадежности, он с мастерством колдуна развратил всю свою эпоху, околдовал современников, заразил своими болезненными и мистическими идеалами весь конец того века, века ажиотеров и банкиров. И под лучами его творчества образовалось целое поколение молодежи, поколение скорбное и истомленное, со взором, упорно устремленным к великолепию и к чародействам прежних веков, — целое поколение писателей и поэтов, особенно тоскливо влюбленных в стройные обнаженные тела и в глаза, полные ужаса и какого-то мертвого сладострастия, его призрачных чародейек.

Ибо чародейства полны бледные и молчаливые образы женщин в его акварелях.

Обнаженные, покрытые драгоценностями, тела его принцесс полны экстаза и вызывают этот экстаз и у зрителя. Как бы в летаргическом полусне, далекие почти до призрачности, они еще более возбуждают чувства зрителя, еще более порабащают его волю своими чарами больших, неподвижных и похотливых цветов, зародившихся в кошунственные века и сохранившихся и по наше время тайной мощью гнусных воспоминаний!

О! этот художник может похвалиться тем, что он переступил порог Тайны, он может требовать себе славы, ибо он нарушил покой всего своего века. Своим изысканным искусством он много способствовал развращению всего мое-

го существа. Мне, так же как целому поколению артистов, больных тоской по нездешнему, он внушил губительную любовь к мертвецам с их долгими, застывшими и пустыми взглядами, к этим давно умершим, одержимым видениями, созданиям, воскрешенным им в зеркале времени.

Жемчужный трепет в небе пламенном и чистом  
Внимает дивным гимнам, вечным песням горя,  
Тоскуют и поют сирены.  
Тоска бессмертная дрожит за аметистом  
Широких глаз: их бог забыл в пучинах моря,  
Забыл возникнувших из пены.

О, эти Сирены в диадемах из жемчугов и кораллов на его знаменитой акварели! Их неукротимая и печальная группа похожа на какой-то чудовищный белый коралл, ветви которого кажутся и мертвыми и живыми!.. И к этому-то большому творчеству, к этому губительному и беспокойному искусству торопятся отослать меня и Эталь и Веллком. И в этом, проникшем меня до боли, творчестве, они настойчиво видят мое исцеление.

А этот маленький усмехающийся божок с изумрудными зрачками... Хотя он и нем, как камень, мне так и слышится его хохот среди ночной тишины.

*Париж, 30 апреля.* — Я туда отправился, и в тот же самый вечер... Какой позор! Если они хотели именно этого, то могут быть вполне удовлетворены, так как опыт удался, превысив все ожидания.

Итак, я отправился туда и, не останавливаясь в залах первого этажа, попросил указать мне *Триумф Александра* и долго стоял перед ним. Я находил эту картину несравненной, — одним из лучших творений мастера. На фоне великолепной грандиозной архитектуры, вызывающей в памяти все волшебства древней Индии, движение толпы, пышность фигур и кортежей, колесницы, паланкины и слоны; множество оружия и труб, воздающих хвалу и поклонение какой-то человеческой фигуре, сидящей на недоступ-

ном троне, подобном монументальному алтарю, возвышающемуся над мотивами волшебной декорации, драконов, сфинксов, гигантских лотосов, чудовищ и цветов.

Цветами же усыпана мозаичная мостовая; в глубине холодная голубая вода дремлет в мраморных бассейнах; в ней отражаются пагоды и храмы, высеченные из чистого порфира, оникса и ценных камней, — высокая крутая скала, эпическая арабеска которой и пугает и восхищает. И надо всем этим царит какая-то неописуемая атмосфера, какая-то пыль, словно сотканная из расплавленного золота и лепестков ириса; все оттенки золотистого и голубого пронизывают эту феерическую обстановку. И ото всех этих тонов, и от всего целого и от его деталей, исходят такое очарование, такая кротость, такое радостное упоение жизнью в этой обстановке и в то же время такое мучительное сожаление о том, что ты никогда не знал этой эпохи и этой толпы, что тобой овладевает отвращение к современности и к нашей цивилизации и так бы охотно умер...

*Триумф Александра!* И Веллком пишет мне, что это — атмосфера Бенареса.

Весь высокий зал, — настоящий музей произведений мастера — от потолка и до нижнего карниза покрывали уже известные пагубные призраки: Саломея с браслетами из сардониксов на ногах, танцующая перед Иродом, с правой рукой, поднятой в священном жесте; потом призрачные соборы Св. Марка со светло-янтарными куполами, служащие фоном для давно минувших сцен разврата и преступлений; и потом, в десяти разных видах, трагическая, блистающая драгоценностями, группа Сирен, и еще Елена, блуждающая с полузакрытыми глазами на стенах Трои. И во всех этих произведениях: как Еленах, так и Саломеях, как в Мессалинах, так и в Геркулесах, у дочерей Фестия или в Лернейском болоте, повсюду выявлено владычество древних мифов и особенно того, что было в них самого зловещего и самого жестокого: ужасные склады трупов Сфинкса, побелевшие кости жертв Гидры, груды раненых, агонии и хрипы... и надо всем этим властвует спокойная и молчаливая фигура Энной; окровавленные головы Иоанна Крестите-

ля и Орфея; последние судороги умирающей Семелы, извивающейся в агонии на коленях бесстрастного Зевса... я ходил среди этой атмосферы избиений и преступлений и шатался, словно запахом смерти веяло в этом зале. И мне пришли на память слова Эталя, восхвалявшего мне однажды вечером, в своей мастерской на улице Сервандони, ту атмосферу красоты и ужаса, которой окружен всякий, кто убил.

Я сошел вниз.

В зале первого этажа трупов было не меньше.

Из груди гниющих тел рос длинный, огромный стебель лилии; он поднимался, зеленый, гладкий и прямой, а на гигантских лепестках его цветка сидела какая-то мистическая принцесса с тонким и молодым, окруженным сиянием, лицом святой, держа в одной руке шар, а в другой — крест. И этот чудесный цветок произрастал из сукровицы и испорченной крови этой свалки: все эти убийства заканчивались ангельской фигурой женщины.

У нее также был пустой и неподвижный взгляд Елен и Саломей. Я покинул этот угол залы; где гибельный символ прославлял бесполезность мученичества, и уже шел по лестнице к улице, к свежему воздуху и к действительности, когда внимание мое было привлечено большой картиной, висевшей в конце обширной залы.

Там, среди колоннады храма или греческого дворца, были изображены, группами или поодиночке, обнаженные тела — тела юных богов, в страстных и трагических позах, — одни, увенчанные цветами, другие, украшенные драгоценностями, как женщины, и, более чем нагие в своих утонченных, варварских нарядах, обрисовывавших схваченные судорогой торсы. Это изображало сцену прерванного пиршества, так как амфоры и металлические блюда вперемешку с трупами покрывали передний план картины. Распростертые на плитах тела были великолепны в чудесном движении падения, в пластической окоченелости смерти, ибо это тоже была сцена убийства: убийство женихов во дворце Пенелопы по возвращении Улисса. В глубине был виден герой, стоящий в амбразуре высокой бронзовой двери,

и Минерва, Паллада — ласточка Одиссеи, порхающая и головокружительная, в ореоле огней, выпускала стрелы из своего лука.

Многие из них уже попали в цель, так как дворец был полон мертвых.

Чтобы тронуть зрителя, художник написал их всех очень юными и в агонии всей этой гекатомбы юности, этих детей-женихов, была та жестокая и сладострастная чувственность, которая была знакома Тиберию и Нерону.

В центре картины, обезумевшая от испуга кучка людей толкалась вокруг лож трех более бесстрашных героев, которые продолжали пить в ожидании смерти. Они даже не покинули своих подушек и, беспечные, возлежав с кубком в руке, казалось, презирали крикливую и полную отчаяния агонию своих товарищей. И я почувствовал восхищение перед этим спокойствием и презрением среди смятенной страхом толпы.

Но, среди всей этой божественной наготы, прикрытой лишь шелками и драгоценностями, два образа притягивали меня и не чистотой своих линий, но величавым обаянием своих лиц, на которых была написана решимость и тоска, и глаза которых, полные видений, опьяняли.

Один из них, в безграничном порыве всего своего существования, разорвал, открыл одежды, чтобы прямее принять удары, и, стоя с открытой грудью, всем своим юным телом, оттененным развевающимися голубоватыми складками, он, казалось, заклинал богов и призывал смерть.

Это была сама юность, бросающаяся в бездну, это была жажда мученичества, принесение в жертву смерти молодой героической души.

Другой сидел в углу залы, прислонившись к колонне с зеленой бронзовой капителью и, поднимая медленно к губам кубок, спокойный, с великолепной бездонностью в очах, пил смерть; ибо кубок был отравлен: полуоблетевший цветок мака плавал на поверхности напитка; и если бы не ясная важность жеста, то трагический блеск зрачков выдал бы последнее решение этого любовника, желавшего оставить только труп для мести тельных стрел супруга.

Но чего я не мог не заметить и что потрясло все мое существо — это было невыразимое выражение глаз этих обоих приговоренных к смерти. Какими фиолетовыми тонами наполнил их художник? Где нашел он ту зеленовато-синюю окраску, которой он окружил их? Но эти глаза жили, как два светящихся источника или как две чашечки цветка.

Эталь не обманул меня. Это были именно глаза моей грезы — глаза моей неотступной мечты, — те глаза ужаса и страха, встречу с которыми он мне предсказал; взгляд, прекраснее всех взглядов любви, потому что в безумном ужасе предсмертной минуты он делается решительным, сверхъестественным и сокровенным. И наконец-то его теория предстала мне, освещенная талантом и гением художника. Я наконец понял красоту убийства, последний грим ужаса, неотразимую власть умирающих глаз.

## ДАЛЬШЕ ТЫ НЕ ПОЙДЕШЬ

*Апрель 1899.* — Из-за власти этих глаз надо мной я чуть не убил девушку. Да, я дошел до этого: я иду, чтобы загипно-тизировать, чтобы опьянить себя красотой творчества Гюстава Моро и выношу оттуда душу убийцы, — какой позор! Целый день я восторгаюсь и грежу перед грозным сверканием этой живописи поэта и колориста и в тот же вечер я очутился в притоне, лицом к лицу с перепуганной малолетней потаскушкой и наглым вымогателем-сутенером.

Присутствие этого человека спасло меня.

Без него, без его внезапного вмешательства, я сжал бы вокруг этой тонкой шеи свои отвратительные руки души-теля, ибо мои руки стали отвратительны! Сейчас, когда я наконец вернулся домой, и хладнокровно, при свете лампы, рассматриваю их, мои узкие руки с длинными и заостренными пальцами кажутся мне отвратительными в своей цепкой гибкости. Я не подозревал в них столько силы... Они кажутся мне когтями после того, как я почувствовал в их тисках агонию испуганного и просящего пощады существа. Как длинен большой палец! Никогда это так не бросалось мне в глаза.

Однако, когда я раздумываю, я не могу поверить, чтобы преследующие меня невыразимые глаза *Претендентов*\* могли довести меня до такого падения; а между тем, когда в комнате отеля я схватил за горло испуганную девчонку, то я искал в ее зрачках именно предсмертного страха. Но зачем же у нее были глаза такой формы и такого выражения?

Я всегда буду воскрешать эту минуту: я чувствовал себя потонувшим в таком вихре чувствований и пустоты, что я подумал, что становлюсь богом, что во мне проявляется дру-

---

\* Картина Моро, о которой говорится в предыдущей главе (*Прим. пер.*).

гая природа и что я овладел наконец неуловимым. Какое жалкое и банальное приключение!

Помню эту прогулку вниз по реке в местный праздник, помню затхлый запах объедков, пота и грязных лохмотьев, стоявший у выхода из мастерской под запыленными деревьями этой улицы, и посреди утомленно фланирующих, зевающих на бараки рабочих, шмыганье взад и вперед этой девчонки.

Ей было не больше семнадцати лет; кусочек нежного, очень белого тела виднелся сквозь скважины кофточка, волосы были золотисты и щеки спело-розовые, уже загорелые, другого тона, чем грудь и шея; вид еще сельский и свежий, несмотря на наружность проститутки.

С упрямым выражением, как будто запряженная в какую-то работу, она прогуливалась по празднику, настойчивая и в то же время очень усталая, не хорошенькая, но хуже того, с своим видом скучающей девицы и с неловкой манерой поднимать платье, показывая красную шерстяную юбку. Бросалось в глаза, что это начинающая; какая-нибудь бедная, развращенная вчера нянька, которую, наверно, на расстоянии нескольких шагов выслеживал сторожащий ее негодяй.

Она два раза прошла мимо меня, невнятным голосом бормоча несколько заученных непристойностей, бросала быстрый косой взгляд в сторону полицейских и вновь пускалась на поиски, очевидно, душима ужасом и грустью о своей неопытности в ремесле потаскушки. Ее неловкость заинтересовала меня и более из жалости, чем из порочности, я принялся ее преследовать, ходить по ее следам. Девочка заметила мой прием и на углу улицы, быстро обернувшись, очутилась со мной лицом к лицу. Подняв наконец на меня свои большие глаза, она кинула мне на ужасающем жаргоне предместья: «Поднесете стаканчик? Жжет ну-тро!».

Ее глаза! Зрачки их были синими и в то же время фиолетовыми, радужными и изменчивыми, и выражение их было такое печальное и в особенности такое боязливое! Ребенок! Во мне сначала пробудилась жалость гораздо бо-

лее, чем желание. И я, герцог де Френез, повел обедать поблизости от вокзала эту маленькую проститутку с улицы Вожирар. Она была перепугана, ошеломлена, не верила такому удачному случаю, что может обедать в ресторане с прилично одетым клиентом; господа, с которыми она привыкла иметь дело, действовали более поспешно. Я разговаривал с нею ласково, спрашивал ее вкус относительно меню.

До сих пор я смотрел лишь в ее глаза, очарованный их неопределенным и глубоким оттенком, может быть, уже находя восхитительное удовольствие в ее ужасе, так как я ей внушал именно ужас; моя любезность, внимательность в мелочах, моя кротость удваивали ее тревогу. Тот субъект, который жил ею, наверное, пошел следить за нами. Ко мне она выказывала только недоверие и сопротивление; с неподвижными расширенными зрачками она имела вид маленькой, находящейся в опасности души, которая вся содрогается и сдерживается, чтобы не позвать на помощь; и ее смятение глухо будило во мне первобытного зверя, темные силы которого — я чувствовал — властно поднимались во мне.

О! Нерон, пивший с восторгом слезы мучеников, о, зловещее сладострастие цезарей, бросавших преториям чистоту и смятение христианских девушек, о, судороги неистовой и жестокой радости, которыми преисполнялись лупанары перед кровавыми играми цирка! и молодые девушки, дети и женщины, дважды отдаваемые зверям, — тигру и человеку!

Какая жестокая и кощунственная радость в том, чтобы сломать тонкий стебель, чтобы раздавить слабое существо; какой торжествующий позор силы, находящей удовлетворение в том, чтобы сокрушить все хрупкое! Ото всей этой грязи лихорадка сводила мне руки и в висках стучало, когда после того, как мы очутились в комнате, ребенок с большими печальными глазами отказался раздеться. У нее нет времени, — я должен торопиться; она живет у родителей, они уже, вероятно, пообедали без нее; отец ее очень жесток, и у нее будут из-за меня неприятности, — и все

отговорки, обычные в таких случаях у этих — якобы учениц.

На самом же деле она боялась, боялась меня и моего взгляда, который должен был гореть и быть странным; она уселась на кровать и инстинктивно, жестом жертвы, скрестила руки на кофточке, которую я старался расстегнуть своими горевшими в адской лихорадке пальцами; и так как я, сделавшись грубым, продолжал настаивать, она выпрямилась и в порыве ужаса и быть может возмущения прохрипела: — Сначала деньги! — и с гибкостью угря она выскользнула из моих объятий и убежала в угол. Она, очевидно, чувствовала ко мне отвращение.

Тогда в глазах у меня помутилось. Мысль о том, что эта маленькая потаскушка не хочет отдаться мне, мне — герцогу де Френезу, бывшему любовнику Вилли и Изе Краиль, капризы которого оцениваются и вымаливаются всеми торговцами живым товаром Лондона и Парижа — эта мысль привела меня в ярость. Фиолетовые зрачки, сделавшиеся громадными, меня околдовывали и увлекали. Страшный жар сводил меня с ума, душил... я задыхался от гнева и желания. Это была настоящая потребность схватить это дрожащее боязливое тело, преодолеть его сопротивление, сокрушить и измять его. И, схватив обеими руками девочку за горло, я распростер ее во всю длину на кровати; изо всех сил и всей своей тяжестью я давил на нее, впившись в губы и пристально глядя в ее зрачки. «Дурочка, маленькая дурочка!» — задыхался я сквозь зубы. И в то время, как пальцы мои медленно вонзались в ее тело, я с восхищением смотрел, как исходили лучи из темной синевы ее зрачков и чувствовал, как трепетали ее груди подо мной.

— Матвей! Матвей! — прохрипела девочка. Дверь открылась под напором плеча, чья-то рука обхватила мою шею, подняла меня за ворот куртки и отшвырнула на середину комнаты.

— Эй, эй! Это что такое? Не надо ли господину протрезвиться? Девчонку обижают? — И мужчина, отвратительный цинковщик, немолодой, с небритыми три дня щеками, с традиционным небрежно повязанным фуляром на шее, ос-

мотрел меня маленькими бегающими глазками, подвижными и беспокойными, как глаза дикого зверя; после осмотра, запустив один палец в усы, а другую руку в карман своей бархатной блузы, он добавил: «Ну что же, Туанет, что такое с барином?»

И, подмигивая мне взглядом соучастника: «Ну, раскошеливайся».

Это была западня — но я предпочитаю это другому... Я вынул из моей куртки револьвер, с которым никогда не расстанусь; зарядил его, свободной левой рукой собрал несколько золотых, лежавших в кармане моего жилета, и со смехом заявил, употребляя в свою очередь их ужасный жаргон: «Это что за музыка? Со мной это дело не пойдет, я эту песенку знаю; девчонка — понятно, малолетняя? Но я ее подобрал на промысле. Оба вы годитесь для тюрьмы, но дело даже не стоит протокола. Вы не умеете делать свое дело: я бы мог вас выучить. Ну, открывайте дверь или мой Биби заговорит по-своему». И я поднял револьвер.

Мужчина слушал меня снисходительно. Его интересовал мой жаргон, вынутые мною золотые, а еще более перстни на моих руках, с которых он не спускал глаз. Сделав мне балетный поклон, он сказал с приторно-вежливым видом: «Вы, сударь, из господ, но мы тоже умеем жить. Да, девочка кормит меня, но в своем ремесле мы честны. Туанет пошла бы с вами за пять франков, может быть, взяла бы вдвое на тряпки. Ну а вы, что хотели с ней сделать? Вы ей сделали больно так, что она закричала? Да, скверная история для барина. Ну, Туанет, развяжи немножко язык; что барин тебе сделал? Оставьте девочку, пускай все расскажет».

Тогда девочка, перепуганная, прижавшись к своему покровителю, пробормотала рассказ о встрече и последовавшей сцене, сопровождая его соответствующими жестами; мужчина слушал ее с зажегшимся взглядом, его злое лицо прояснилось и он смотрел теперь на меня с благоклонностью.

«Ладно, — бросил он, сгребая три луидора, которые я положил на стол, — я все понял, стоит только сговориться.

Эй ты, соплячка, пошла вон, очищай комнату, недотепа! Надо ее простить, — молода, жизни не знает. Иногда попадаются такие чудачки — вот она и испугалась. Ступай, жди меня внизу у виноторговца, да позови Ненеста, типографского ученика, который уже десять дней как путается с толстой Марией, — того мальчишку, которого она подобрала и который у ней теперь живет; у толстой Марии, или ты оглохла? — и он замахнулся на девочку, — у толстой Марии, что живет на чердаке на углу улицы Лекурб; скажи ей, чтобы она шла вместе с Ненестом и приведи их обоих к моему виноторговцу, мы с барином сейчас сойдем. Держи на чай!» — и он бросил девочке пять франков, а когда бедняжка вышла, добавил: «Надо только столковаться... если бы барин объяснил дело... Я — продувная bestия, я — не бревно и вещи вижу с первого взгляда. Так и надо было сказать и можно было бы найти то, чего вам нужно. Я понимаю, чего вам надо». И он пропустил меня перед собой, широко распахнув дверь: «Пожалуйте, сударь...»

Дойти до этого, носить у себя на лице такую маску, что посреди улиц Гренель и Вожирар мне нашептывают те же предложения, которые я слышал в Каире и на набережных Неаполя!

И душу этой маски я впитал в себя перед живописью Гюстава Моро. До чего я дошел, мой Бог! И я даже не убил этого человека, осмелившегося со мной так говорить. Знает, Эталь все уничтожил во мне!

## ДЕНЬ ЛИЛЕИ

Париж, 15 мая. — «Ницца. Процесс мой выигран. Портрет маркизы Эдди и несколько других пять дней тому назад отправлены из Лондона, и Ротнер известил меня телеграммой, что вчера они прибыли на вокзал. Я еду, чтобы самому получить их; все будет распаковано и готово для осмотра завтра, вечером, в моей мастерской. Приходите же познакомиться с этой прелестной леди Кернеби, развод которой возвратил меня к моей палитре. Она все продолжает медленно угасать среди золотисто-голубой весны на Ривьере; агония придает ей такие тона... Я спешу возвратиться в Париж, чтобы прибавить несколько мазков на моих полотнах. Эта маленькая чахоточная маркиза, сама того не подозревая, позировала мне для настоящего шедевра. Я начал ее писать уже больную, окончу умирающей: думаю, что это интереснее, чем передать какое-нибудь изменение в лице женщины... Она и восковой бюст маленького неаполитанца навсегда останутся двумя самыми интенсивными впечатлениями моей жизни... в области искусства, конечно; самыми острыми и самыми богатыми, сложнейшими ощущениями. Ведь вы, мой милый герцог, вы — не более как дилетант, но вы поймете чувства радости и гордости, которые я испытываю перед этим портретом.

Вы увидите, кстати, как маркиза Эдди похожа на своего брата. Вы увидите также на улице Сервандони еще несколько произведений вашего Эталя: набросок герцогини Сирлей, этой бедненькой супруги пэра, которая так ужасно умерла несколько дней спустя после окончания ее портрета, и пастель с маркизы Бикоском, самой неврастеничной из всех замужних американок в Лондоне, которую сеансы до такой степени изнурили, что я никогда не мог окончить ее. Да, да; врачи запретили ей посещать мою мастерскую. Но успокойтесь: маркиза Бикоском не умерла; в настоящее время она должна находиться в Китае; маркиз был назначен посланником в Пекин. Таким образом, я

приглашаю вас не совсем на бал жертв. Итак, до завтра; не правда ли? Вся моя лондонская мастерская переселилась ко мне. Приходите часам к семи: в мае месяце восхитителен именно этот час дня.

Ваш  
Клавдий Эталь».

Письмо помечено четырнадцатым. Значит, сегодня вечером в семь часов Клавдий приглашает меня созерцать преступные, истомленные и близкие к агонии красоты этих знаменитых убийственных портретов.

Герцогиня Сирлей, маркиза де Бикоском... И мне приходит на память весь разговор с Пьером де Терамоном и его визит ко мне в августе месяце, меньше года тому назад.

«У него есть особо приготовленный сигаретки, которые побуждают к ужаснейшему разврату, а молодая герцогиня Сирлей, говорят, умерла в шесть месяцев, потому что во время сеансов вдыхала запахи странных и опьяняющих цветов.

Что же касается маркизы Бикоском, то она перестала позировать Эталью благодаря настояниям врачей; неврастения, которой она страдала, неудержимо росла в атмосфере этого цветочного рынка, вечно наполненного туберозами и лилиями; она чувствовала, что умирает там.

Цветы эти, обладавшие свойством делать кожу тела похожей на перламутр и окружать восхитительной синевою глаза тех, кто вдыхал их запах, эти цветы — возбудители чудесной бледности и трогательной синевоы под глазами — распространяли миазмы смерти. Из любви к красоте, из страсти к длительным томным взглядам и нежным краскам Клавдий Эталь отравлял тех, кто позировал ему; этот сеятель агоний культивировал истомленность».

Да, таковы были слова Терамона, эта ужасная легенда, создавшаяся вокруг имени художника, эти слухи, ходившие в клубах, эти отголоски лондонских сплетен.

Итак, Синяя борода приглашает меня сегодня вечером посетить тех, кого он убил.

*Париж, 16 мая, четыре часа утра. — Я убил Эталю!*

Я не мог более! Жизнь сделалась для меня невыносимой, воздух смертоносным. Я убил. Я освободил себя самого и других, так как, уничтожив этого человека, я уверен, что тем самым спас других людей. Я уничтожил элемент извращения, скрытое семя смерти, хищную личинку с мрачными лапами, протянутыми ко всему, что молодо, ко всему слабому и неопытному. Я освободил Веллкома (в этом я уверен); я, быть может, спас кроткую маркизу Эдди, чью душу он расхищал и чью агонию он тиранил; и, быть может, я разорвал ту ужасную сеть очарования, которую он бросил на маркизу де Бикоском. Ведь человек этот был больше, чем простой отравитель: он были колдун и, отравив его же собственной рукой, я был бессознательным карающим орудием Судьбы; я был рукой, занесенной другой волей, более сильной, чем моя; я совершил тот жест, которым он угрожал миру, я окончил его земное поприще.

Волшебник умерщвлен своей же волшебной...

А сам я скрылся... Я поступил так под влиянием страха, из законного чувства самосохранения: я убил его, чтобы не быть убитым самому, потому что Эталю вел меня к самоубийству, а быть может, и к еще худшему, и я говорю теперь о спасении других только для того, чтобы оправдать себя. В тот момент, когда я разбил о его зубы ужасный изумруд, я думал не о других, а только о себе одном. И вот почему я — не что иное, как самый обыкновенный убийца; даже не убийца по призванию, который убивает из-за наслаждения убить, даже не убийца из сладострастия, которым я мог бы стать — но просто испуганный обыватель, стреляющий, весь дрожа, в вора, присутствие которого обнаружено грохотом падающей мебели.

Я убил Эталю! Как это случилось? Конечно, я ненавижу его, но боялся его я еще больше. И вот, я словно еще там, стараясь собрать мысли при свете двух канделябров, в тишине заснувшего жилища, и я не могу! не могу! Слова и образы сталкиваются в бедной, пустой голове моей, в которой болтается что-то болезненное; это что-то — мой мозг, разжиженный и раздавленный; в висках у меня стучит, ко-

жа суха, во рту горько, а на дворе, за спущенными ставнями, уже яркий день.

В отеле никто не видел, как я вернулся; я не позвонил к консьержу; сам открыл дверь своим ключом и скользнул в темноту, как вор... нет: как убийца.

Эталь говорил, что Веллком тоже совершил убийство. Теперь, значит, нас двое. Да, мы можем протянуть друг другу руку. Я помню, как он говорил мне, что в один прекрасный день я убью, что я дойду до этого. Значит, он это знал? Если бы я мог верить, что он меня подозревает, я устранил бы его тоже; я не хочу быть убийцей, я — герцог де Френез.

О, если бы я мог заснуть! Я хотел бы прежде всего воскресить всю эту сцену, записать шаг за шагом, как я ее провёл и как я дошел до... О! как мне скверно... Ну, укол морфина, и пусть я паду в объятия сна, как в пропасть. Завтра я овладею собой.

*Тот же день, десять часов утра.* — Все это было очень просто. «В семь часов», — сказал он мне; в семь часов я был у него. Властное и мощное пожатие руки, настоящий нажим тисков. На нем были надеты все его перстни, громадные бледные жемчуга, похожие на перламутровые пустулы, и на среднем пальце желтый драгоценный камень с серебряным когтем — кольцо самого Филиппа II по образцу эскуриальского. И взгляд мой немедленно обратился к его зеленому свету в тот вечер, когда я входил к Эталью.

«— Бал жертв! — воскликнул он, повторяя отвратительную шутку своего письма. — Отлично. Берегитесь, любезный герцог; я нахожу вас немного желтым. Ну, смотрите, — как они красивы!»

Фигляр! Вся мастерская сверху донизу была засыпана туберозами и чудовищными лилиями. Эталь хотел, чтобы вся белая, опьяняющая, цветущая масса, которой он отравлял сеансы своих моделей, окружала также их портреты, чтобы лучше присвоить себе украденное у этих женщин сходство или, кто знает? быть может, чтобы усугубить впечатление и еще больше подчинить меня себе, ибо он хоро-

шо знал, что не знать легенды я не мог.

О, этот Эталь! Он читал в моей душе, как в раскрытой книге. — «Точно ночное бдение у мертвецов», — глумился он, указывая на цветы. — И не похожи ли они сами на три прекрасных лилии, восхитительно надломленных, — на три больших белых увядающих лилии?

Прельщает горестно и странно  
Кончина белая лилей.

— Герцогиня Сирлей: всякому почет по заслугам. Для нее моя шутка — не метафора: она действительно умерла. Поверьте, что я здесь не при чем. Я только объект легенды, известной и в Лондоне, и в Париже: это единственное условие, на котором у вас признают гения.

Слишком любила цветы, это ее и убило.

И он продолжал извергать из отверстия своего хищнического рта с вывороченными губами и оскаленными крепкими зубами: «— Посмотрите-ка на эту деву! Молва приписывала ей не менее трех любовников. Обратите внимание на эту невинность; и особенно на глаза, на эти большие голубые глаза, такие кристально чистые в тени ресниц, и на этот изящный нос. Не правда ли, кажется, чувствуешь трепетание ноздрей? Она была создана из перламутра, эта прелестная женщина, а ведь это только эскиз».

В широкой раме из лакированного дуба было вставлено большое темное полотно, и только середина его казалась живой. Из целого потока газа и батиста, набросанных как на портрете Рейнольдса, выступало хрупкое лицо молодой женщины или, скорее, девушки, нежно окруженное светлым ореолом. Где мог Эталь взять это знание светотени и рельефа?

На однообразном, темном, едва набросанном фоне картины, лицо и шея молодой герцогини выделялись, подобно благоуханию. Это была, так сказать, живопись души:

душа, еще более, чем цветок, виднелась в удлиннном овале лица, в хрупкости этого стана, скрытого в вихре батиста.

Герцогиня Сирлей! В ней была хрупкость стебля и прозрачность чашечки белого ириса, пронизанного светом; прозрачное создание грации и аристократии, осужденное, чувствовалось, на неотвратимое и на смерть. О, эта изумленная глубина ее громадных глаз цвета горного источника! Я не мог насмотреться на нее. Насколько супруга английского пэра может походить на куртизанку, настолько эскиз Клавдия мучительно напоминал мне Вилли Стефенсон. Та же хрупкая и ослепительная шея, манившая задушить или отрубить ее, затылок из амбры и снега, созданный для эшафота, одна из тех роскошных породистых красавиц, изящество которых ослепляет и доводит до иступления, образец атавизма, редкий и драгоценный человеческий экземпляр, навлекающий на себя и крамолу, и молнии, и смерть.

— Не правда ли, очаровательна? — насмешливо грассировал на парижский манер Эталь. — Калигула отдал бы ее на поругание в цирке под аплодисменты всей римской толпы. Я сказал вам: настоящая лилея.

Такая святость в их страданьи,  
И так прелестна бледность их,  
Они и в самом увяданьи  
Милее всех цветов земных.

— Более, чем очаровательна: она трогательна. Так вот, этот ангелок имел триста тысяч франков годового дохода и Том Стернетт... крупный пайщик торгового дома Гемфри и К°, уплачивал в день Дерби вое ее пари на лошадей (этот ребенок азартно играл); этот пустяк, не менее восьмидесяти тысяч фунтов стерлингов, открывал Стернетту доступ к ее столу и ложу. Да, это идеальное создание... Но он был и не один: были еще двое. Если бы я мог вспомнить, я бы назвал вам их имена.

И человек с покрытыми перстнями руками продолжал извергать кощунства над лилеями.

## УБИЙСТВО

Теперь была очередь за другими.

Портрет маркизы де Бикоском был сделан пастелью; но какая-то особенная энергия, какое-то бешенство словно усилило краски. Едкими отрывистыми мазками обрисован был ее полный бюст среди серых и белых полос, наложенных, чтобы изобразить изломы материи и тяжелые блестящие складки шелкового платья. Эталь, вероятно, писал ее, торопясь, в пылу лихорадки. На материи лежал жемчужный отблеск, казалось, следы мела; манера письма была уверенная и высокомерная, почти спешная, с полным презрением к деталям, — манера Антонио Моро или Гойи.

Антонио Моро! И я не мог удержаться, чтобы украдкой не взглянуть на Клавдия. Он на самом деле был устрашающим двойником гнома в капитоне фламандского мастера. Одетый во фрак (мы должны были вместе обедать), он поразительно напоминал луврский портрет. У него была та же огромная голова, толстая шея, слишком длинный торс на чересчур коротких ногах, то же что-то искривленное и двусмысленное, что Антонио Моро вложил в своего карлика. Те же щетинистые брови и припухший нос, в особенности же затаенное под тяжелыми веками коварство, свойственное шуту герцога Альбы. И я уверен, что благодаря именно этому постоянно насторожившемуся коварству, он принимал позу портрета и стоял передо мной напыщенный, уперев руку в бок все время, пока разъяснял мне подробности красот де ла Бикоском и указывал их своей ужасной рукой.

— Из всех трех самая красивая! — объявил художник, вода почти на уровне моих губ своими громадными перстнями с бледными перламутровыми отблесками, — обратите внимание на роскошь этого тела. Это — настоящий триумф ослепительного тела, — тела выскочки, потому что оскудение вырождающейся расы не наложило еще здесь своих мягких лиловатых или зеленоватых тонов, столь милых Ван-

Дейку и Веласкесу. Под этой кожей миллионерки бурлит кровь североамериканского охотника и молодого матроса; к тому же, она обладала таким темпераментом и такой волей, которые заставляли ее ускорять ход событий и вознаграждать саму себя за время, потерянное ее предками. У нее была склонность к снобизму, пристрастие к эфиру, морфину, к ночному бдению, к бессонницам, как у других бывает пристрастие к портным; я убедил ее в том, что это придавало коже оттенки перламутра, глазам утонченность и восхитительную утомленность, и она от всей души стремилась потерять свою свежесть. Что за индюшка! Холодная до того, что могла бы среди лета заморозить всякого парижанина; последнего нищего ирландца она взяла бы себе в любовники так же спокойно, как и гвардейского офицера, если бы я убедил ее, что это в высшей степени «шикарно»; меня она считала за законодателя элегантности и наполняла весь свой дом в Пикадилли зловонием тубероз и лилий только потому, что она их видела у меня. Это была дура в кубе. О, эти тяжкие часы, когда она позировала мне! Я все надеялся, что она, наконец, почувствует себя дурно и потеряет сознание в переполненной цветами мастерской, но она обладала лошадиной выносливостью; бледнели только ее глаза, а сама она оставалась розовой, неизменно тона лепестков камелии. О, как она мне осточертела! Врачи, пользовавшие ее, запретили ей посещать мою мастерскую. Да, ведь вы видите, — никакой тайны, никакого очарования нет в этих зрачках, хотя и красивого фиолетового оттенка; это — не восточная жемчужина, расцветаящая всеми цветами перламутра, лишь умирая, это — великолепная дикая лилия, тогда как мы любим лишь тепличные цветы.

Как она теперь, должно быть надоела китайцам! О! она не обладала притягательностью этого маленького бюста.

И он небрежно уронил свою сухую и когтистую руку на восковое лицо бюста Анжелотто, который он вынул из хранилища, но которого я до сих пор не замечал.

Анжелотто был его триумфом, его гордостью. Целая агония заключалась в этом произведении. Он лепил его с

радостью, искусно продленной долгими страданиями и ужасами, и казалось, что под его обрызганными крупными жемчугами пальцами, страдальческое лицо маленького чахоточного трепещет и бледнеет.

— Ну, вот эта — совсем другое дело, — бросил Эталъ, отняв, наконец, руку. — Что вы скажете насчет этого лица?

Он указал мне длинное полотно, вставленное в раму из серебра, как некоторые картины в Потсдаме и в германских королевских музеях, — полотно, которое казалось погруженным во мрак и освещенным лишь невидимым источником света: внутренность склепа или траурная комната. Виднелась загадочная фигура женщины, сидящей на голубой атласной кушетке, затянутая в атласное платье лунного цвета. Она напоминала императрицу Жозефину в своем платье ампир, с высокой прической, в которой звездилась бирюза, вся неподвижная и очень обнаженная, с блеском рук и плеч, напоминавшим холодный и нежный блеск неюфаров; высокая грудь поддерживала эмалевый пояс и на восторженном и неподвижном лице светились два больших глаза с громадными зрачками жидкого, темно-синего оттенка. У нее был восхитительный овал лица нимфы, вдохновенная бледность сивиллы и расширенный взгляд жрицы, видящей Бога; темная шевелюра украшала эту ночную женщину.

О, как гармонировала ее поза с положением слегка расставленных рук, опиравшихся кистями на кушетку, с галлюцинирующей тоской всего этого насторожившегося лица, с тонким рисунком пальцев и тонким, как шея лебедя, изгибом нежных рук, со странным выражением гипноза этой маленькой Дианы времен Консульства! «Не правда ли, она кажется какой-то ночной и лунной среди всего этого — правда ли, что для этой маленькой нимфы из Эреба нужна была именно такая рама, пышная и холодная, не злоеющая, но печальная. Обратили ли вы внимание на изгиб рта? Так вот, эта трехликая Геката, эта жрица Артемиды Таврической, эта Ифигения Глюка — это и есть сестра Веллкома, — маркиза Эдди. Разве вы не находите, что она похожа на него? Посмотрите только на ее глаза».

Слова этого человека раздавались громко в моей душе, он выражал прямо мои мысли. Теперь, когда он кончил расхваливать портрет, какие гнусности выложит он про эту женщину? И мне припомнился кошмарный сеанс курения опиума, устроенный в этой самой мастерской и чудовищные истории, представившие в таком гнусном свете всех участниц этого замечательного вечера. Ни одна не нашла пощады, начиная с преступления Мод Уайт, кончая продажным прошлым герцогини Альторнейшир; всю грязь, все гнусности, все пороки, не спеша, перетряхивал этот ужасный англичанин, обливавший помоями по очереди маркизу Майндорф, княгинь де Сейриман-Фрилез и Ольгу Мирянинскую.

Всех находившихся у него в этот вечер женщин он обрисовал такими ужасающими чертами, обезобразив их с талантом визионера, что имел полное основание в один из моментов на этом бесовском сборище шепнуть мне на ухо: «Мы — на шабаше», чувствуя кошмарную атмосферу. Впрочем, на этом вечере у Эталя мужчины стоили женщин, а женщины — мужчин; стадо Фреди Шаппмана и вылощенных англичан с гардениями в петлицах могло не завидовать трем великосветским иностранкам и, в смысле репутации, граф де Мюзарет и княгиня де Фрилез могли подать друг другу руку; но, по крайней мере, в тот вечер ужасные нашептывания оправдывались видом этих людей и явностью их пороков. Сюда было бы вполне уместно привести полицию, если бы не имена, не высокое положение и не состояние и тех и других. О, эти гости! Мне стоило взглянуть на них, чтобы понять, до какой степени Клавдий был прав, когда приглашал меня прийти взглянуть на нескольких «монстров». Впрочем, он, вероятно, шепнул им ту же фразу и про меня: я тоже входил в состав его коллекции и все мы давно знали друг друга, или были осуждены узнать в, увы! таком тесном ограничении нашего позорного кружка; но весь зверинец, собравшийся в ту ночь у Клавдия, имел когти и зубы, мог себя защитить. Я хорошо знаю, что все цивилизованные звери укрощены страхом или корыстью, и что лицемерие надевает человеческие маски на ры-

ла и морды, но в эту ночь из тщеславия они сдерживались, впрочем, готовые укусить, сбросив цепи с намордниками, если бы укротитель оказался слишком далеко, и я терпел Эталю в этой роли хозяина зверинца, ибо звери — были живы.

Теперь же в этот прелестный, золотистый, майский вечер Эталю пригласил меня, чтобы любоваться образами и призраками; таковы были эти три женских портрета, можно сказать, портреты трех покойниц, ибо одна из них уже умерла, а другая находилась в агонии; убранство комнат было то же и Эталю вновь продолжал свою разрушительную миссию в этой мастерской, осиянной белыми цветами. Он осквернял с удовольствием репутацию этих женщин! С кощунственной радостью обдавал он грязью и их будущее и их прошлое, и это было похоже на то, как если бы на белые лилии бросали лопатами грязь или били заступом прямо по чему-то драгоценному, хрупкому, безгрешному и белому, что от каждого слова могло сломаться, оскверниться, поблекнуть.

О, этот губитель цветов и душ, этот подстрекатель порока, жестокий и веселый косец всех иллюзий, убийца мечтаний, сеятель сомнений, источник отчаяния, что скажет он мне сейчас об этой леди Кернеби? Каким клеймом отметит он это роковое и прелестное лицо, широкие зрачки которого мне так горестно напоминали глаза Томаса? И страх услышать от него неизгласимое заставлял меня умолять его в глубине души: «Только не эту, ради Бога, не прикасайтесь к ней!»

Он приберег ее к концу, как самую лучшую добычу и, уверенный в производимом впечатлении, подобно актеру, который щадит и подготавливает зрителей, он сел на диван, пригласил жестом меня сделать то же и после паузы начал скандировать с видом знатока: слова, словно подрубленные, странно звучали в тишине: «О, эта — достойная сестра нашего дорогого Веллкома». И маленькие глаза его блестящие и смеялись жестокой радостью под тяжелыми веками. Он чувствовал, что причинял мне боль и от этого его лицо гнома просветлело. Он снова замолк, наслаждаясь

моей тоской. «Я ведь вам сказал уже, что Томас — ее побочный брат и брат со стороны матери — это целая история. Беременность Джорджины Мельдон была одним из крупных скандалов в английском обществе тридцать лет тому назад: виновником его был молодой ирландский фермер. В августе месяце в Ирландии очень жарко и семья Джорджины проводила лето в имении. Так как замуж за фермера не выходят, то молодая девица отправилась разрешаться от бремени на следующую весну в Шотландию. Таким образом Томас Веллком — ирландец по отцу — шотландец по месту рождения; тем не менее, маркиза Эдди законная дочь графа Реджинальда Суссекса; Джорджина эта была редкой красавицей, и я должен объяснить вам свойства атавизма».

Я более не слушал его. Прислонившись к подушкам дивана и продолжая говорить, Эталь вытянул руку, машинально положил ее на голову итальянского бюста, стоявшего на подставке в нескольких шагах от него: и я больше уже ничего не видел, кроме этой руки.

Ее пальцы, покрытые выпуклостями металла и перламутра, скрюченные, как когти, трогали выпуклый лоб Анжелотто. Это был как бы ястребиный коготь, впившийся в изображение бедного ребенка; посреди жемчуга блистал, подобно глазу, отравленный изумруд, и мне казалось, что под тяжестью этой жестокой руки скорбное лицо медленно содрогается и выражает страдание.

Эталь продолжал извергать свои гнусности. Что говорил он? Не знаю, но мне, погруженному в какую-то галлюцинацию, казалось, что между его властных и лихорадочных пальцев вянут и бледнеют по очереди черты других знакомых лиц: вот тонкий овал и большие васильковые глаза маленькой герцогини, вот де ла Бикоском в своем великолепии розового цветка и, наконец, бледное лицо и экстатические глаза маркизы Эдди. О, рука этого отравителя, сжимавшего все эти скорбные, пораженные насмерть лбы! Казалось, вдоль влажных колец струилась синева, и когда в этой оправе из бледных драгоценностей я, после воех других, увидел смятенное лицо, испуганные глаза са-

мого Томаса, — я вскочил в порыве ужаса, ненависти и ужаса, ужаса и ненависти, и не отдавая себе отчета, толкаемый какой-то посторонней силой, бросился на Эталю. Одной рукой удерживая его запрокинутый лоб и в свою очередь жестоко терзая ему волосы и голову, другой я схватил его ужасную руку с еще более ужасными кольцами и с силой запихал ее в рот, в его преступный рот, еще полный имен Томаса и Эдди. С наслаждением наблюдая теперь, как его маленькие глазки ширились от ужаса, я грубо ударил гнездом его перстня об эмаль зубов и тремя ударами разбил ядоносный изумруд.

Эталю, опираясь на спину, старался приподняться или укусить; но презренный кусал лишь свои пальцы. Свободной рукой он схватил меня за шею и пытался удушить, но я продолжал держать ему голову запрокинутой и заставлял его пить; разбитый камень опустел, сжимавшая меня рука ослабела, тяжелый пот выступил каплями на лице, грудь вздымалась и опускалась, как кузнечный мех, два стеклянных глаза, похожих на миллиардные шары, закатились к провалившимся вдруг вискам; потом они исчезли под веками, остались лишь белки, и все скорченное судорогой тело вытянулось. «Свершилось». Вокруг меня белые цветы продолжали свое похоронное бдение.

Голова с ужасным зияющим ртом лежала на плече, покрытая кольцами рука скользнула на грудь. Я положил ее вдоль тела на подушку; герцогиня Сирлей улыбалась из своей рамы, высокомерная де Бикоском изгибалась поверх своих полосатых тканей, взгляд Веллкома следил за мной из глаз маркизы Эдди, взгляд изумленных и сопричастных глаз, — я ни о чем не сожалел.

Я разгладил грудь моей сорочки, спокойно завязал галстук, открыл дверь передней и спустился с лестницы.

## БОГИНЯ

29-го мая 1899. — Шесть часов вечера. Сейчас я покинул мастерскую Эталья, где имел очную ставку с трупом. Я говорю, очную ставку: но это слишком громко, ибо ни тени подозрения не коснулось меня и приглашен я был туда лишь как друг умершего, по просьбе комиссара, чтобы осветить и разъяснить правосудию возможные причины самоубийства; ибо все были убеждены, что здесь самоубийство. О нем говорило разбитое гнездо перстня, — врачи установили факт отравления ядом кураре, и самое убранство мастерской, этот апофеоз тубероз и лилий, нагроможденных вокруг тела, точно на панихиде, служили, по мнению комиссара, признаком предумышленности намерения...

Сегодня — только для правосудия, а завтра и для всего Парижа, Клавдий Эталь, — склонный к сплину англичанин и художник со странностями, добровольно покончил с собой, выпив яд перстня; намеренное скопление редких цветов, наличность присутствия в мастерской трех наиболее ценных для покойного портретов, — все это укрепляло в толпе предположение о самоубийстве... А меня — убийцу, единственного виновника преступления, даже не тревожат, хотя я ничего не сделал для того, чтобы доказать свое *alibi*. При малейшем подозрении, при малейшем намеке, я бы признался, я бы громко закричал о своем поступке: это — акт правосудия: ибо оно не наказано. И я сам — судья.

Эталь переполнил чашу и должен был умереть; и подтверждением служит то почти сомнамбулическое хладнокровие, с которым я выполнил акт, почти не заметив этого сам.

*В тот же день, — одиннадцать часов вечера.* Я перечел сейчас мой дневник. Как я стараюсь оправдать себя в собственных глазах; извинить свой поступок; мной совершено преступление, потому-то с самого утра сегодня я слежу за своим видом и движениями, словно актер, сбиваю-

щий с толку правосудие в сторону, благоприятную для себя. И я же навязал им рассказ о самоубийстве, давая понять, что Эталь был в отчаянии от того, что не может более писать; и, чтобы придать больше веры этой легенде о художнике, не желающем пережить свой талант, не передал ли я комиссару то письмо, которым Клавдий приглашал меня к себе полюбоваться портретами?

И это письмо сумасшедшего (сумасшедшего, само собой разумеется — с точки зрения комиссара, а не артиста) и привело к выводу о самоубийстве, — еще одном безумии!

Я сейчас же оценил, какую пользу принесет мне это письмо. Поэтому, когда в два часа полицейский предстал передо мной с просьбой последовать за ним на улицу Сервандони, я отнюдь не взял его с собой. Могло бы показаться, что я нарочно запасся доказательством. Я спокойно переложил его в карман фрака, после чего я хладнокровно пошел за полицейским, не спрашивая его ни о причине его прихода, ни о цели моего визита на улицу Сервандони.

И только подходя к дому Клавдия, я решил, что пора мне заволноваться: «Не случилось ли чего с господином Эталем?» И, так как ответа не последовало, то я бросился на лестницу. Дверь была открыта. Я налетел на полицейского в передней и промчался в мастерскую.

Все было на том же месте. Не изменили даже положения трупа. Рот, все еще зияющий, слегка почернел, слизистые оболочки посинели, и под вздувшимися тяжелыми веками что-то светилось, как почерневшее серебро. Закостеневшая рука покоилась на подушке на том самом месте, где я ее положил. Комиссар, группа агентов и два врача поднялись при моем появлении, повернувшись спиной к портрету герцогини де Сирлей.

Тогда, рассчитав заранее весь эффект, я остановился, удерживая крик, бегло поклонился собранию, бормоча: «Господа, господа», подбежал к Клавдию, обнял его, и, поспешно отыскав глазами руку, схватил ее и оцупал перстень. И с жестом отчаяния я уронил эту руку.

— Вы, кажется, должны были вместе провести вечер, сударь? — спросил меня комиссар. — Не приходили ли вы

вчера вечером около шести часов в эту мастерскую? — Совершенно верно, сударь. Эталъ приехал вчера утром из Ниццы и уведомил меня письмом. Оно даже, кажется, со мной (я сделал движение, ища его). Эталъ хотел показать мне эти портреты; он только что выиграл процесс, по которому они делались вновь его собственностью; вот уже год, как Эталъ не писал более, так как большие неприятности, которые он имел в Лондоне, обескуражили его; одним словом, приобрести вновь свои произведения было для него радостью; он придавал этому громадное значение. Какая досада, что у меня нет с собой его письма! Потому что такое наивное убранство цветами; вчера в этой мастерской был праздник». И я продолжал плести целую нить лжи, целое соединение убедительных вероятностей, рассказанное с хладнокровием, которому я сам удивлялся. Я как будто раздвоился, и мне казалось, что я в качестве зрителя присутствую на судебной драме, в которой я же сам направляю нити интриги, отдельные сцены и даже жесты актеров. Комиссар и врачи, казалось, согласились между собой подавать мне реплики и когда, на вновь предложенный вопрос: «Не должны ли вы были обедать вместе?» я ответил: «Совершенно верно; видите, он даже еще во фраке; мы должны были провести вместе вечер; но когда надо было выходить, Эталъ заявил, что устал; проведенная в вагоне ночь, быть может, запах этих цветов, сильное волнение при виде вернувшихся к нему картин... Одним словом, он просил меня извинить его и оставить одного. Мы условились встретиться вновь сегодня вечером». — Итак, сударь, ничто не заставило вас заподозрить принятого вашим другом намерения? — Ничто, совершенно ничто. Я убит, ошеломлен. — Вы, кажется, упомянули о письме? — Да, о том письме, в котором Эталъ приглашал меня прийти посмотреть его картины; я оставил его дома, но предоставлю в ваше распоряжение. — Мы будем вам очень обязаны, сударь. Простите за причиненное вам беспокойство, но ведь только вы могли дать нам важные сведения о покойнике. Вы можете удалиться.

И на этом дело кончилось.

В прихожей Вильям, лакей Эталя, приехавший этой ночью из Ниццы, бросился ко мне со словами: «О, сударь, кто бы мог предвидеть?... Подумать только — что я нашел, приехав с вокзала! И ничего этого не случилось бы, если бы я приехал с тем же поездом, как и он». — Надо бы пригласить монахиню, Вильям. — Нет, я сам буду сидеть возле него; ведь, конечно, г-жа Эталь приедет? — Г-жа Эталь?.. — Ну да, — мать барина. С сегодняшнего утра мы только и делаем, что телеграфируем.

Г-жа Эталь! У Эталя была мать. Он никогда не говорил мне о ней и я отнял у этой матери сына. Только тут я в первый раз за весь день почувствовал волнение. Сказав несколько ласковых слов Вильяму, я ушел.

Я более не узнаю самого себя. Чувствительность моя совершенно исчезла. Никогда я не был так спокоен. Неужели убийство разбудило во мне такое могучее хладнокровие и такую необычайную энергию? И до сих пор я не испытал ни одного угрызения, напротив, с каждым часом во мне укрепляется сознание выполненного акта правосудия.

*30-е мая — девять часов утра.* — Где я был? Откуда эти обломки портиков и длинные стволы уходящих в бесконечность колонн? Бог мой, сколько развалин. И сколько на песке старинных, разбитых статуй и цоколей! Но где же я видел уже этот город Смерти? И ни одной травки, ни веточки плюща... Все песок, песок без конца.

Какая странная пустыня! Ни одной птицы в вышине. И какая тишина! И как нежен воздух; я был очарован этим мертвым лунным городом и неземной чистотой этой ночи. Порфир колонн бросал такие чистые отблески, и ничто не шевелилось во мраке. Восхитительное спокойствие, казалось, навеки оцепеневшее, и памятники, и пилястры, и пилоны, и портики... И вдруг вокруг меня раздался шелест крыльев и удивил меня, не испугав; но откуда он, если город мертв и не обитаем птицами? В эту минуту в темноте как бы засветились желтые драгоценные камни, и мне показалось, что это звезды отражаются в лужах воды. Но в пустыне этой не было ни воды, ни звезд... В ушах моих про-

звучали какие-то вздохи, чуть слышные слова, какие-то нежные фразы, произнесенные на незнакомом наречии. Мне был сладок этот шепот слов с редкими согласными, с гласными столь мягкими, что я не мог разобрать... И вдруг портики и памятники покрылись народом. Кариатиды ли то ожили? Никогда лица женщин не казались мне так нежны. Они приблизились, встали вокруг меня и внезапно сделались неподвижными; они были все пепельного цвета и на голове имели митры вроде конических тиар жриц Индры. Не испытывая страха, я тем не менее дрожал, — это была острая дрожь сладострастия, но не испуга. Я видел уже где-то эти фигуры: да, да мне уже знакомы эти тяжелые загнутые ресницы и эти треугольные улыбки. Но где же? Иронические и слегка дремотные, они раскачивались теперь вокруг меня; то, что я принял за трепет крыльев, был шелест длинных подвесок из изумрудов и металла, висевших на их шелковых туниках; обнаженные места тела были покрыты драгоценностями: эмалевые кольца, нагрудники из драгоценных камней обхватывали ноги и груди. Вдруг глаза их внезапно загорелись фосфоресцирующим светом, лица с засветившимися тиарами преобразились — и потом все исчезло! Но теперь я знал, на кого походили все эти «танцующие Саломеи». — На Саломею — с известной акварели Гюстава Моро, а светящийся взгляд их с лучащимися зрачками — был взглядом изумрудных глаз ониксового идола, — маленькой Астарты из дома в Вульвиче, находившейся теперь в моей приемной.

Никогда еще столь сладкое сновидение не посещало меня.

*Париж, 5-е июня 1899 г.* — Вот уже три дня, как газеты и листки позорят Эталю: переворачивают всю грязь, перерывают все превратности его жизни, выставляют их напоказ с прибавкой истинных и ложных анекдотов и всех легенд, ходивших о нем за последние пятнадцать лет как о человеке и как о художнике. Оспаривают даже его талант, и в этом я вижу влияние собратьев. Ко всем этим историям приплетены женщины, инкогнито которых почти не сохра-

няется; некоторым не хотят простить успеха их портретов и инициалы выдают их. В нескольких статьях упоминается мое письмо; обо мне говорят, как о друге покойника, и все бесчестие, поднятое вокруг его трупа падает и на меня.

Что за отродья гиен! И как он был прав, презирая их, хлеща их своими сарказмами и оказывая неуважение всеми своими безумными эксцентричностью этим голодным кладбищенским хищникам, которые, чуть только закроют гроб, бросаются обнюхивать и грызть еще теплое тело.

Один дурак написал, что это — «чисто парижское» самоубийство.

Все они дураки и трусы, жадные до скандалов и подлые в жизни. Какой некролог готовят они мне? Но они не будут иметь удовольствия писать его. Довольно с меня этого Парижа снобов и этой дряхлой рутинерской и протухшей Европы. Убийство Эталя освободило и просветило меня. Я вновь обрел себя и я снова прежний я. Веллком был прав: путешествовать, изжить до конца жизнь страстей и приключений, раствориться в неизвестном, в бесконечном, в энергии молодых народов, в красоте недвижимых рас, в роскоши инстинктов.

Я соберу моих поверенных, ликвидирую все дела, все оставлю и уеду!

*Париж, 9-е июня.* — Что ни говорите, а сегодня ночью у меня было более, нежели видение: какое-то неизвестное существо — из невидимого и неосязаемого — сделалось явным. Я лежал в постели и не спал; я лег очень рано, сделав днем, по предписанию Корбена, длинную прогулку, чтобы здоровой усталостью утомить нервы. «Она» явилась мне.

Лампа была зажжена, передо мной на неподвижном столике лежала книга; значит, я не спал.

Эта фигура, обнаженная, — среднего, скорее, даже маленького роста, с изумительно-чистыми линиями, стояла у ног моей кровати, слегка откинувшись назад и как бы реяла в комнате; пальцы ее не касались пола; казалось — она грезила.

Веки были опущены, рот полуоткрыт и все это обнаженное тело, казалось, приносило себя в дар, беспомощное и целомудренное; скрещенные на затылке обнаженные руки поддерживали голову с выражением экстаза и от этого удлинялся изгиб торса с темнеющими подмышечными впадинами.

Это было лихорадочное видение; тело его казалось прозрачным, словно черный янтарь; со лба, украшенного изумрудами, ниспадало черное газовое покрывало, скрывавшее низ живота, обвивавшееся вокруг бедер и стянутое узлом у ног ниже колен, увеличивая таинственность этого бледного явления.

Я жаждал увидеть взгляд ее, скрытый за сомкнутыми веками. Тайное предчувствие говорило, что это летаргическое обнаженное видение обладало секретом моего исцеления, что эта экстатическая фигура мертвой влюбленной — живое воплощение моей тайны.

В ушах у меня прозвучали слова: «Астарта, Актея, Александрия». И фигура исчезла.

Астарта — имя Сирийской Венеры; Актея — имя отпущенницы; Александрия — город Птолемеев, куртизанок и философов; Астарта — также имя Демона.

*Париж, 28 июля.* — Завтра я уезжаю в Египет.

Этим заканчивалась рукопись господина де Фокаса.



## Примечания

Роман Ж. Лоррена *Monsieur de Phocas (Astarté)* был впервые напечатан с продолжениями в *Le Journal* в июне-августе 1899 г. Первое отдельное издание вышло в издательстве П. Оллендорфа в 1901 г.

Русский перевод А. Чеботаревской публикуется по первоизданию: *Лоррен Ж. Астарта (Господин де Фокас)*. М.: К-во «Сфинкс», 1911 (издательством «Сфинкс» роман был выпущен как первый том задуманного, но не осуществленного полного собрания сочинений Лоррена). В тексте исправлены некоторые устаревшие особенности орфографии и пунктуации, а также ряд мелких неточностей перевода. В ряде случаев было изменено написание имен и топонимов. Также нами было добавлено отсутствующее в переводе Чеботаревской посвящение.

На фронтиспise и с. 228 – иллюстрации А. Шампрона к изданию 1922 г. В оформлении обложки использована картина Н. Калмакова «Астарта» (1926).

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

**SALAMANDRA P.V.V.**